

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ



Василий
Молодяков



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Василий Молодяков

Валерий Брюсов

«ВЕБКНИГА»

2020

Молодяков В. Э.

Валерий Брюсов / В. Э. Молодяков — «ВЕБКНИГА»,
2020 — (Жизнь замечательных людей)

ISBN 978-5-23-504729-7

Имя великого русского поэта Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), вождя символизма и реформатора литературы, известно каждому образованному человеку, но его биография появляется впервые. Книга содержит проницательный анализ жизненных и творческих коллизий, сплавленных в увлекательный «жизнетворческий» текст. Вдохновенный поэт и требовательный мастер, мудрый учитель и вечный ученик, мистик и рационалист, империалист и большевик, Брюсов-человек предстает перед читателем во всей своей «стообразной сути». Литературные произведения, мемуары, дневники, письма Брюсова и его современников, друзей и врагов, послужили автору материалом для критического жизнеописания, в котором из мозаики фактов складывается достоверный портрет уникальной творческой личности в контексте эпохи, обильной драматическими событиями.

ISBN 978-5-23-504729-7

© Молодяков В. Э., 2020

© ВЕБКНИГА, 2020

Содержание

Вступление	6
Книга первая. Холод утра	8
Глава первая	8
Глава вторая	19
Глава третья	30
Конец ознакомительного фрагмента.	42



Василий Молодяков
Валерий Брюсов. Будь мрамором

*Являй смелей, являй победней
Свою стообразную суть,
Но где-то, в глубине последней,
Будь мрамором и медью будь!*
Валерий Брюсов

© Молодяков В. Э., 2020

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2020



Вступление

*Героев своих надо любить; если этого не будет, не советую никому
браться за перо – вы получите крупнейшие неприятности, так и знайте.
Михаил Булгаков. Записки покойника*

Фамилию Брюсов знают все образованные люди, но многие ли читали его произведения за пределами антологий, хрестоматий и прочих массовых изданий? Не потому что «ленивы и нелюбопытны», а потому что Брюсов до сих пор не издан сколько-нибудь полно. В самом объемном из доступных, сиреневом семитомном собрании сочинений 1973–1975 годов цензура не пропустила около полусотни стихотворений даже из прижизненных авторских сборников. Сегодня все крупные поэты Серебряного века изданы лучше, чем он. На какого цензора это свалить?

Нельзя сказать, что о Брюсове писали мало. О нем высказались почти все именитые современники – от Владимира Соловьева до Владимира Ленина, включая Николая Михайловского, Николая Гумилева и Николая Бухарина. Получается замечательная антология, но ее никто не собрал и не издал. Не собраны и воспоминания о нем. Материалов к биографии опубликовано много, а биографии не было. Были только «очерки детства и творчества», где краткие сведения о жизни играют роль довеска к филологическому анализу. «Написать биографию Брюсова сложнее, нежели написать очерк его творчества, – констатировал в 1973 году исследователь русского символизма Л.К. Долгополов. – Жизненный путь Брюсова сложен и противоречив. Он изобилует такими резкими поворотами, такими резкими изменениями симпатий и антипатий, общественных взглядов и политических позиций, какими, пожалуй, не может похвастаться ни один из его современников» (1).

Незадолго до смерти, в статье «Без божества, без вдохновенья» Александр Блок писал: «Так же, как неразлучимы в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга – философия, религия, общественность, даже – политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры» (2). О том же говорил и Брюсов: «Всеобъемлющий гений Пушкина охватывал все стороны духовной жизни его времени: не только интересы искусства, в частности – поэзии, но и вопросы науки, общественной деятельности, политики, религии [...] И вся эта разносторонняя деятельность образует стройное целое, потому что отражает единое мирозерцание, составляет различные проявления единой, цельной личности великого поэта... Как сочинения Пушкина, так и его убеждения – это живой организм, из которого нельзя изъять одну часть, не повредив целого. [...] Пушкина должно принимать в его целом, и только тогда получаем мы в полноте грандиозный облик нашего национального гения» (3). Сказанное применимо и к нему самому.

Эта книга – первая биография Брюсова, описание его жизни и отношений с друзьями и врагами в контексте эпохи. В очерке «Конец Ренаты» Владислав Ходасевич заметил: «Символисты не хотели отделять писателя от человека, литературную биографию от личной. [...] Внутри каждой личности боролись за преобладание “человек” и “писатель”» (4). Как быть с этим единством «двух в одном»? Вадим Крейд утверждает: «Без знания жизненного пути многие стихи теряют часть своего содержания. На биографию можно взглянуть как на комментарий к стихам, тогда понятнее становится творческое развитие» (5). В нашем случае наоборот: произведения, мемуары, дневники, письма Брюсова и его современников – материал для жизнеописания, требующий критического подхода.

Описание жизни Брюсова день за днем может занять много томов. Автор лучше, чем кто бы то ни было, сознает, что смог охватить далеко не все, ибо нельзя объять необъятное: всегда найдется незамеченный мемуар, письмо, слух. Но надеется, что не упустил ничего принципи-

ально важного и не исказил облик героя, причудливо двоившийся уже в восприятии современников. Возлюбленная поэта Нина Петровская была права, написав в 1923 году: «Будущим литературным летописцам придется покорпеть, чтобы из всех этих шлаков восстановить истинный его образ» (6).

Настоящая биография Брюсова впервые увидела свет в 2010 году в издательстве «Вита Нова» и была тепло принята читателями. Необходимости перерабатывать книгу не возникло, но автор дополнил и местами исправил написанное. Для удобства чтения в цитируемых текстах сокращения, содержание которых не вызывает сомнения, раскрыты без дополнительных обозначений. Все даты до 1/14 февраля 1918 года приводятся по старому стилю; даты писем, отправленных из-за границы, по старому и новому стилям.

В работе, занявшей много лет, мне помогали десятки людей: историки и филологи, архивисты и букинисты, музейщики и издатели, художники и редакторы – перечислить всех не представляется возможным, но я глубоко признателен всем. Особая благодарность А.В. Бурлешину, принявшему на себя, как и в первом издании, труд научного редактора, А.С. Александрову и А.Ю. Сергеевой-Клятис, прочитавшим рукопись. Моя жена О.В. Андреева поддерживала меня на всех этапах работы. Ответственность за возможные упущения и ошибки целиком лежит на авторе.

Василий Молодяков

9 октября 2018,

Токио



Книга первая. Холод утра (1873–1897)

*Погребенных воскресенье
И среди глубокой тьмы
Петуха ночного пенье —
Холод утра — это мы!*

Дмитрий Мережковский

Глава первая «Мечтающий о славе и победах»

1

Молодой Брюсов начал рассказ о себе в написанной летом 1900 года, но оставшейся незаконченной повести «Моя жизнь», с неожиданной для декадента фразы: «По происхождению я – костромской крестьянин». Та же тема в стихотворении «Не память...», созданном за год до смерти:

Во мне вдруг вздрогнет доля деда,
Кто вел соху под барский бич...
И (клич сквозь ночь!) я снова, где-то, —
Все тот же старый костромич.

Это не рисовка, но стремление подчеркнуть свое отличие от собратьев по символизму – выходцев из дворянских семей, видевших деревню помещичьими глазами. Брюсов – внук крестьянина, ставшего купцом и переселившегося в город, – деревни не знал, но «старым костромичом» в себе гордился.

Дед Валерия Яковлевича по отцу, Кузьма (Козьма) Андреевич Брюсов (1817–1891) родился крепостным крестьянином помещицы Федосьи Алалыкиной, владевшей землями в Карцевской волости Солигаличского уезда Костромской губернии. В семейном архиве сохранилось письмо барыни Кузьме Андреевичу от 27 мая 1845 года из деревни в Москву, которое внук приложил к «Моей жизни» как документ эпохи – и самый ранний из известных нам письменных источников по истории рода Брюсовых. Речь в нем идет о выкупе из крепостного состояния, в чем ему помог московский купец Смирнов (1). О жизни деда мы знаем главным образом со слов внука, который основывался на рассказах и записях отца: «Слышал, что в молодости он был печником. Старший брат его (кажется) нажился в Кронштадте (то есть был отпущен на заработки. – В.М.) и, умирая, оставил ему маленький капитал, на который он и начал торговлю пробками. [...] Особенно помогли ему годы Крымской войны. В те времена в России еще не было пробочных фабрик, пробки надо было привозить из-за границы морем, а все порты были в блокаде. Дед рискнул выписать товар на свой собственный страх через Архангельск; товар дошел, и он мог брать за него любую цену. В [18]60–[18]70-х годах про-

бочная торговля К.А. Брюсова была единственной в Москве, обороты доходили до 90 000 в месяц». Жаль, из конторских бумаг почти ничего не сохранилось.

Фирму Брюсовых знали не только в торговом мире. Вспомнили о ней насмешники-футуристы, поглумившиеся над происхождением Валерия Яковлевича в манифесте «Идите к черту» (1913): «Василий Брюсов привычно жевал страницами “Русской мысли” поэзию Маяковского и Лившица. Брось, Вася, это тебе не пробка!..» Бенедикт Лившиц вспоминал: «Василий – не опечатка, а озорство: поэт любил свое имя, вводил его в стихи, злоупотреблял его благозвучием [...] Ладно – назовем его в таком случае Василием! Пробка – тоже неспроста; это – намек на принадлежащий Валерию Яковлевичу, а может быть, и никогда не существовавший, пробковый завод» (2). Насчет пробкового завода Лившиц только «слышал звон», а вот с именем угадал, хотя и случайно: первая публикация десятилетнего Валерия – письмо в редакцию детского журнала «Задушевное слово» в 1884 году – по ошибке оказалась подписана «Вася Брюсов».

Кузьма Андреевич «был крепкого здоровья, бодр до глубокой старости. Пока торговлей распорядился он, дело шло так или иначе, несмотря на сильную конкуренцию, развившуюся за последние годы. Образ жизни до конца дней своих он вел самый простой. Ели у него из общей чашки. Обед ограничивался щами да кашей; редко прибавляли жаркое, котлеты. Читать он умел и охотно перечитывал разрозненный том Четьи-Миней и еще какие-то издавна бывшие у него книги. Писать он так и не научился, лишь с трудом, каракулями подписывал свою фамилию. Бабка моя, его жена, Марфа Николаевна (ошибка Брюсова; следует: Никоновна. – В.М.), перед ним не смела возвышать голоса, но далеко не была женщиной запуганной и дом держала строго». Некоторое представление об этом дает коллективное послание к ней членов семьи, начинающееся: «Милой моей сожительнице Марфе Никоновне от сожителя твоего Козьмы Андреевича свидетельствую мое искреннее почтение и желаю доброго здоровья и всякого благополучия. Милой нашей и неоцененной мамаше от детей Ваших Якова, Дарьи и Лизаветы Козьминых и Александра Ивановича (муж Д.К. Губкиной, урожд. Брюсовой. – В.М.) свидетельствуя Вам наше сердечное искренно-любящее почтение вместе с тем просим у Вас наше заочное родительское благословение и посылая вам несчетное число поцелуев, желаем Вам всякого благополучия и молим всевышнего творца, чтоб сохранил он Ваше неоцененное для нас здоровье».

Расторговавшись, Кузьма Брюсов в 1877 году купил – «кажется, не без некоторой коммерческой хитрости» – каменный дом на Цветном бульваре (дом 22 по современной нумерации). «Местность эта была тогда еще довольно пустынная, – вспоминал внук. – На бульваре были постоянные балаганы, вторая половина бульвара только что разбивалась. Самотечный пруд еще не был даже огорожен. Но местность застраивалась и заселялась быстро». Рассказов о доме сохранилось много, причем они, как водится, не просто различаются, но порой противоречат друг другу. Собрав их, А.Л. Соболев затем изучил кадастровый план и дал четкое описание, которым мы и ограничимся:

«Земля, на которой был построен дом, имела официальный адрес: “Сретенской части участок за № 24 по проезду Цветного бульвара”. [...] Он имел площадь в 1260 квадратных саженей – в нынешней терминологии около 57 соток. Форма его была клиновидной; в широкой части, выходящей на Цветной бульвар, располагался главный дом; в сужающемся фрагменте – сарай и служебные помещения, всего четыре строения. Дом был одноподъездным; двухэтажным со стороны бульвара и трехэтажным со двора. На фасаде – восемь окон по первому этажу, восемь – по второму; посередине, над входной дверью, был балкон с ажурной решеткой, поддерживаемый двумя колоннами» (3).

Опасаясь мотовства сына, Кузьма Андреевич завещал дом внукам Валерию и Александру с условием не продавать его до достижения старшим из них, Валерием, тридцатипятилетнего возраста, то есть до декабря 1908 года. С начала 1900-х годов дом был преобразован в доход-

ный с восемью квартирами, из которых сдавались шесть. Управляла домом Иоанна Матвеевна Брюсова, жена Валерия Яковлевича. Они занимали одну из оставшихся квартир; в другой жили родители с дочерьми, до выхода двух из них замуж. Наконец, 22 июня 1910 года внуки продали дом за 65 тысяч рублей Александру Робертовичу Герценбергу, владевшему соседним зданием, и разъехались. Валерий Яковлевич и Иоанна Матвеевна сняли у купца Ивана Баева квартиру в первом этаже дома 32 по Первой Мещанской улице (ныне проспект Мира, 30) – где прожили до смерти; сейчас там Музей Серебряного века.

Старый дом не уцелел, хотя «в статусе жилого [...] почти без ущерба пережил труднейшие годы истории отечества. В 1978 году неравнодушный свидетель (журналист О. Точеный. – В.М.) писал: “Дом Брюсовых на Цветном бульваре неплохо сохранился до наших дней, он выглядит сейчас почти так же, как и столетие назад. Можно только сожалеть, что исчез ажурный металлический балкон, находившийся на уровне второго этажа дома, над парадным входом. Думается, что пришла пора восстановить его, благо, что сохранились старинные фотографии здания”. Последние же десятилетия оказались для него фатальными: в конце 1990-х годов дом был снесен и заменен своим не слишком похожим подобием. Балкончик, впрочем, вернули» (4).

У Кузьмы Андреевича и Марфы Никоновны было трое детей – сын Яков и дочери Дарья и Елизавета. В 1855 году, когда Якову исполнилось семь лет, «тятенька» отдал его «в частный пансион, платя за обучение по 2 рубля в месяц. Там мальчик оставался в течение полутора лет, после чего его знания мой дед, – вспоминал Александр Брюсов, – счел достаточными для ведения торговых книг, и с 9 лет мальчик стал бесплатным конторщиком в деле Кузьмы Андреевича» (5), помогая грамотному дяде Петру Андреевичу. С десяти лет Яков пытался вести дневник, но записывать было нечего, разве что «Рубили капусту в дождик» (запись повторялась в октябре, из года в год) или «1858 года в августе начала ходить на небе комета звезда с хвостом и кончилась в 1 числа октября».

Записи и рассказы отца послужили Валерию Яковлевичу материалом не только для автобиографических страниц, но и для «повести из жизни 60-х годов» «Обручение Даши» (1913) и оставшегося в набросках романа «Стеклянный столп», над которым он работал в годы Первой мировой войны (6). Яков Брюсов стал прототипом главного героя повести – честного и неискушенного Кузьмы Русакова, которому «в привычной полутьме отцовской лавки, где уже третье поколение торгует бечевой, веревками, канатом, вязкой [...] мечталось легко и привольно». Юношей волновали одни и те же проблемы: «С папенькой об чем разговаривать? Он, кроме жития святых да старинного описания Макарьевской ярмарки, ничего не читал, а о Тургеневе (время споров о романе «Отцы и дети». – В.М.), понятно, не слыхивал. Да и один у него сказ на все: “Ты, Кузьма, дурак, твое дело – бечева, а не книги!”... Мысли Кузьмы были прерваны окриком отца: “Что ворон считаешь, Кузьма! За дело взялся, так, того, в дело и смотри. Эдак ты ложку мимо рта пронесешь”. Вздыхнув, Кузьма вернулся к товарной книге. “Четырехшнуровых по двадцати сажен столько-то, шестишнуровых по десяти сажен столько-то, двойных трехшнуровых столько-то пудов...”».

Яков Кузьмич самостоятельно выучил латинскую азбуку и с апреля 1862 года начал вести ей дневниковые записи, которые никто в доме не мог прочитать. Первая тетрадь озаглавлена: «Moi Journal ili dnevníc Jaca Casmina Brusova. Se 1862» (такой же дневник вел Кузьма Русаков). «Латинскими буквами дневник заполнялся до тех пор, пока у Я.К. Брюсова не появилась шкатулка с ключом, куда можно было спрятать дневник от посторонних глаз. [...] Последние записи относятся к октябрю 1866 года. [...] Говоря о “быте Островского”¹, в котором вырос и нравственно сформировался отец поэта, надо иметь в виду, что в семье Брюсовых, по-видимому, не было жестокости. [...] Ни об одном серьезном конфликте с родителями Яков Кузь-

¹ В «Моей юности» Брюсов охарактеризовал семью деда как «быт, запечатленный Островским».

мич в своем дневнике не пишет ни разу. Стеной, о которую разбивались многие стремления и упования молодежи, была скупость отца. Оказалось невозможным, например, брать уроки французского языка и танцев, пришлось оставить занятия в хоровом классе пения, с трудом приходилось убеждать родителей сделать детям выходные туалеты, чтобы можно было пойти в гости по приглашению. [...] “Все у них (то есть у отца, уважительно именуемого во множественном числе. – В.М.) обыкновенный ответ, что «танцы пустяки, от них денег не получишь»”. [...] Но разговоров о жесткости, страха наказания и т. п. в этом дневнике нет абсолютно. Дети, в общем-то, были предоставлены сами себе» (7).

Это обстоятельство сыграло большую роль в жизни как отца поэта, так и его самого. Яков Кузьмич вырос в атмосфере «темной», но человеческой: духовной близости с отцом у него не было, но было уважение, а в зрелые годы – взаимопонимание. Отсутствие насилия и жестокости в собственном детстве в сочетании с прогрессивными увлечениями юности сделали из него гуманного и терпимого отца, возможно, даже несколько легкомысленного. Валерий Яковлевич тоже рос, предоставленный самому себе, и, несомненно, любил и уважал Якова Кузьмича, который, в отличие от Кузьмы Андреевича, старался если не жить интересами сына, то уважать и понимать их. Закоренелый «шестидесятник», он получал все декадентские журналы, читал и даже не бранился.

Тяга к литературе – не только к чтению, но и к сочинительству – у Валерия Яковлевича тоже от отца. «В 1865 году Я.К. Брюсов вместе со своим товарищем И.П. Смирновым приступает к изданию рукописной газеты “Эхо” и журнала “Свобода”. [...] Программа газеты очень широка. В ней предполагалось 11 разделов. Среди них: политика; обзор русских и иностранных журналов и газет; статьи о науке и искусстве; стихи и проза; сатира и юмор; библиография и критика и т. д. Практическое исполнение этого замысла, конечно, очень наивно и примитивно. Все статьи, стихи и рассказы писали Я.К. Брюсов и И.П. Смирнов, – разумеется, на уровне очень малой культуры и образованности. Но тяга к образованию, общий “культуртрегерский” пафос этих “изданий” двух молодых людей, стремление их стать выше своей среды – бесспорны» (8). С незначительными оговорками сказанное можно применить к детским и гимназическим «журнальным» опытам Валерия Яковлевича, речь о которых впереди. Менялось время – менялись темы и уровень знаний, но пафос и настроение оставались прежними.

Юношеские записи Якова Кузьмича «очень подробны и обстоятельны, очень наивны и вместе с тем часто ярки, почти пластически выразительны: “Мы сели в вагон. Я с Лизой рядом, а визави у окна Маргерит: контр-визави около нас поместились замоскворецкие типы толстых купчих, между ними замешалась хорошенькая барышня лет 17-ти, тоже из купеческого быта; когда поезд тронулся, все они, не исключая и мадемоазель, перекрестились большими крестами”. [...] Очень колоритен язык дневника, представляющий собой смесь купечески-мещанской речевой стихии с вкраплениями иноязычных слов, которые для автора дневника очень важны, так как использование их есть для него признак высшей культуры, к которой он тянется изо всех сил» (9). Велико искушение применить последние слова к французским и латинским заглавиям первых поэтических книг Валерия Яковлевича...

В четырнадцать лет Яков Кузьмич читал Загоскина и Поля Феваля, в шестнадцать – Гоголя, Тургенева и Достоевского: двух последних – как новинки текущей литературы (дело происходило в 1864 году). Отмечу еще одну черту сходства между отцом и сыном, старшими из детей в семье: Яков Кузьмич пытался руководить образованием и чтением сестер; Валерий Яковлевич был первым учителем своих сестер и продолжал уроки даже в переписке, когда уезжал из Москвы². «Обычно такие затеи братьям мало удаются», – заметила его жена Иоанна

² Младшие братья и сестры: Николай Яковлевич (1877–1887); Надежда Яковлевна (1881–1951) – музыковед, профессор Московской консерватории; Евгения Яковлевна (в замужестве Калужная) (1882–1977) – преподаватель Московской консерватории; Александр Яковлевич (1885–1966) – археолог, профессор, в молодости выступал как поэт и переводчик; Лидия Яковлевна (в замужестве Кисина) (1888–1964) – химик, профессор.

Матвеевна (10). Она вряд ли знала, что Елизавета Брюсова (которая читала даже Герцена и Лассалья в анонимных и запрещенных изданиях) писала любимому брату Якову в 1873 году: «Ты сам хорошо знаешь, чем ты был для меня целых двадцать лет». То же самое могли сказать – и говорили – сестры о Валерии Яковлевиче.

Яков Кузьмич и его товарищи увлекались романом «Что делать?» и в 1869 году создали по его примеру «Модную мастерскую, основанную на началах ассоциации» и «Частную берегательную кассу»; правда, через несколько лет оба предприятия прогорели (11). Осенью 1899 года, просматривая в библиотеке Исторического музея старые журналы, роман прочитал его сын-декадент. «Во мне есть пути, на которых я схожусь с крайностями шестидесятых годов, – писал он тогда Ивану Коневскому. – Я люблю их буйство и ниспровержение всех кумиров, разрешение всяческих свобод» (12). Языком Чернышевского – как языком времени – Яков Кузьмич объяснялся в любви своей будущей жене Матрене Александровне Бакулиной: «Если бы Вы даже не любили меня, то я все-таки люблю и буду продолжать любить Вас, может быть той любовью, которой любит Лопухов Веру Павловну даже тогда, когда она его разлюбила. [...] Если Вы не любите меня, неужели мы прервем свои сношения или переменим что-либо в своих отношениях – мы причисляем себя к новым людям, неужели на этом споткнемся?»

Матрена Бакулина, как писала ее невестка, «в [18]70 году покинула Елец, где воспитывалась как “барышня” у тетки-купчихи, приехала в Москву, сняла с шеи крест, остригла волосы, поступила на службу, повела знакомство с молодежью, стремившейся, как она сама, к образованию и отчасти к развлечению, устроилась на тех же курсах, что и молодой купец Яков Брюсов» (13). О курсах сказано не совсем верно – речь идет о кружке самообразования, в который входили Яков и Елизавета Брюсовы, Матрена Бакулина и ее сестра Зоя, а также образованный и бойкий Г.С. Михайлов, который в 1874 году женился на Елизавете. Надежда Брюсова считала его прототипом Аркадия Липецкого из «Обручения Даши», но сходство может быть только очень отдаленным: в частности, между ним и Яковым Кузьмичем не было никаких заметных столкновений. Елизавета Брюсова умерла в 1879 году в Ялте от скоротечной чахотки (14).

В 1871 году Яков Кузьмич вопреки воле отца поступил вольнослушателем в Петровскую сельскохозяйственную академию, но через год был вынужден оставить ее, поскольку не имел законченного гимназического образования. В январе 1872 года он пошел на новый конфликт – женился. «Родители уже выбрали ему невесту из купеческой семьи с подходящим состоянием. Но он задумал жениться по своему выбору. Мать моя была из семьи очень небогатой, у нее было пять сестер и шесть братьев, так что ни на какое наследство надеяться было невозможно. [...] На этот раз дело дошло до полного разрыва. Отец ушел из семьи, нашел место в суде на 20 р. в месяц. Он рассказывал мне, с каким внутренним самоудовлетворением отказывался он от взяток и благодарностей. Впрочем, [служба отца] продолжалась не долго. Дед, до безумия любивший своего единственного сына, Яшу, сам пришел к нему мириться. Отец вернулся в прежнее дело». Уже в марте 1873 года он принял на себя руководство пробочной торговлей Кузьмы Андреевича – неохотно, но понимая, что без формального образования другой работы не найти. Тоскуя, он пристрастился к вину. После смерти отца и раздела его наследства, Яков Кузьмич передал дела фирмы более предприимчивым родственникам и жил на проценты с капитала, которые стали основным источником существования и для его детей на многие годы.

Второй дед будущего поэта Александр Яковлевич Бакулин (1813–1894) являл собой полную противоположность Кузьме Андреевичу. Он родился в Ельце в состоятельной купеческой семье, потерявшей значительную часть состояния в 1840-е годы, в том числе из-за разрушительного пожара. Александр Яковлевич арендовал мельницы и имения, где хозяйством занимались его многочисленные дети от двух браков, и был принят в домах соседей-помещиков почти на равных. В юности он однажды видел Пушкина, о чем с благоговением вспоминал до конца жизни, поскольку главной его страстью была литература. «Он писал лирические стихи, поэмы, повести, романы, драмы, – сообщает внук, – но особенно сильным считал себя в баснях.

Воспитывавшийся еще в Пушкинскую эпоху [...] он признавал только Державина, Крылова, Пушкина и поэтов Пушкинской плеяды; уже к Лермонтову (своему погодку. – *В.М.*) он относился несколько пренебрежительно, “новых” же поэтов, как, например, Фета или Полонского, он отрицал совершенно. Кое-что из своих произведений деду удавалось пристроить в разные мелкие издания, а в 1864 году он даже издал отдельной книжкой свои басни (под псевдонимом “Басни провинциала”³). Александр Яковлевич входил в Суриковский литературно-музыкальный кружок писателей-самоучек и участвовал в его сборнике «Рассвет» (1872).

«Дед обычно целые дни проводил за письменным столом, исправляя свои старые сочинения и неустанно исписывая новые груды бумаги. Сыновья и дочери, конечно, подсмеивались над тем, что считали чудачеством отца, но дед до конца жизни ждал, что его, наконец, оценят по справедливости, и умер с уверенностью, что придет когда-нибудь его день, и Россия поставит после имен Державина, Крылова и Пушкина равное им имя – Александра Бакулина». Благодарного слушателя непризнанный баснописец нашел лишь на старости лет: «Дед первоначально любил меня, посвятил мне одну сказку и длинное стихотворение “Волки”. Позже он интересовался моими литературными опытами и отстранился от меня окончательно лишь после появления первого выпуска “Русских символистов”». Александр Яковлевич умер в январе 1894 года, до выхода первого выпуска, но мог читать неопубликованные стихи внука-декадента или слышать их от него. Внук написал о нем трогательный рассказ «Голубочки – это непорочность» и статью «Стихотворения и басни А.Я. Бакулина» (15), приведя образцы его творений, и даже подписывался «В. Бакулин». Приведу одну из многочисленных басен непризнанного поэта, которые он сам распределил по двенадцати книгам, «Волы и молодая Кобылка»:

Волы везли тяжелый воз.
Кобылка молодая,
По выгону гуляя,
Завидя их, заржала: «Вот курьез,
Вот смех! Смотрите-ка: в упряжке!
Да как послушны, как идут!»
А утром, глядь, самой бедняжке
Пришлось примеривать хомут.
Смеялся бы Волам Орел иль Сокол птица.
Ну... те летают в высоте.
А то смеется кобылица,
Чья мать и чей отец ходили в хомуте.

2

Валерий Яковлевич Брюсов родился в Москве 1 декабря 1873 года, под знаком Скорпиона, в доме армян Херодиновых (Милютинский переулок дом 14). Крестили его в ближайшей церкви Евпла архидиакона на углу Милютинского и Мясницкой (разрушена в 1926 году). Сохранившаяся метрическая справка гласит: «В метрической книге Московской Евпловской, что на Мясницкой, церкви тысяча восемьсот семьдесят третьего года № 16-й писано: Декабря второго числа (так! – *В.М.*) родился Валерий, – крещен 6-го числа, родители его: Московский 2-й гильдии купеческий сын Мясницкой слободы Яков Косьмин Брюсов и законная его жена Матрона Александровна, оба православного вероисповедания, восприемники были: Лебедянский второй гильдии купеческий сын Яков Александрович Бакулин и Московская 2-й гильдии

³ Имеется в виду анонимное издание под таким заглавием, вышедшее в Москве.

купеческая дочь девица Елизавета Косьмина Брюсова, крестил священник Димитрий Добро-
нравов с причтом» (16). Жизни в Милютинском переулке Валерий Яковлевич помнить не мог,
потому что через год с небольшим после рождения первенца Брюсовы переехали в дом Бари
на Яузском бульваре (дом 10), где прожили более трех лет. В отличие от Андрея Белого, он не
уверял, что осознал себя чуть ли не в утробе матери: «Помнить себя я начинаю лет с четырех,
а что было до тех пор, отчасти знаю по рассказам».

О своем детстве Брюсов рассказал с юмором, передавая дух времени, захвативший роди-
телей: «Они с жаром предались моему воспитанию, и притом на самых рациональных осно-
вах. Начали с того, что меня не пеленали вовсе. Я мог барахтаться сколько угодно и напере-
кор старорусскому убеждению нисколько не вышел искривленным. Кормила меня мать сама,
конечно, по часам. Игрушки у меня были только разумные. [...] Родители мои очень низко
ставили фантазию и даже все искусства, всё художественное. Им хотелось избрать своим куми-
ром Пользу. Поэтому мне никогда не читали и не рассказывали сказок. Я привык к сказкам
относиться с презрением. Впервые прочитал я сказки лет 8-9-ти; тогда как читать научился
я 3-х лет от роду, а полюбил слушать чтение еще раньше». «Если мы сами вышли ни то, ни сё,
то пусть наши дети будут настоящими людьми», – писал Яков Кузьмич жене, пояснив в другом
письме, когда любимому «Вальке» было всего девять месяцев: «Я не хочу, чтобы он вынес из
своего детства обыкновенные обыденные впечатления с предрассудками».

Летом 1877 года Брюсовы, в семье которых только что родился второй сын Николай,
отправились в Крым: первое путешествие в жизни Валерия. «Море и скалы, “царственные
виды соседства гор и вод Тавриды” сразу обольстили мое детское воображение. [...] В памяти
у меня остались лишь разрозненные отрывки впечатлений этого лета: запомнилась почему-то,
и вполне отчетливо, Ореанда; запомнились стены севастопольских домов, на которых тогда
еще показывали следы ядер и пуль Крымской войны; запомнилась бурная ночь, когда ветер
срывал ставни на ялтинских домах, а в море затонуло немало рыбацких баркасов».

В 1878 году на Яузском бульваре у Брюсовых, незадолго до их переезда на Цветной буль-
вар, бывал революционер-народоволец Николай Морозов, будущий узник Шлиссельбургской
крепости, почетный академик и автор «новой хронологии». Яков Кузьмич в революционном
движении не участвовал, но считал делом чести помочь товарищам, если тех преследовали
власти. Морозов сажал хозяйского сына «на свое колено и качал, предлагая мне воображать
себя скачущим на лошади», но маленький Валерий вряд ли это запомнил. В марте 1910 года
он записал в дневнике: «Познакомился с Н.А. Морозовым, шлиссельбуржцем. Он знал меня
ребенком, качал на коленях – так как гимназистом и студентом был близок с моим отцом. [...] У-
знав, что я сын его старого знакомого, был тронут, обнял меня, поцеловал. Много говорил
с моей матерью, вспоминал прошлое». Памятью нового знакомства стал инскрипт на втором
томе собрания стихов «Пути и перепутья» (1908): «Николаю Александровичу Морозову на
память о давних, давних днях, когда он качал на коленях будущего автора этой книги. Валерий
Брюсов» (17).

Валерий Яковлевич вспоминал, что родители воспитывали его не только рационально, но
в материалистическом и атеистическом духе. «Об идеях Дарвина и о принципах материализма
я узнал раньше, чем научился умножению. Нечего и говорить, что о религии в нашем доме
и помину не было: вера в Бога мне казалась таким же предрассудком, как вера в домовых и
русалок». Выступая с ответной речью на своем юбилее в Российской академии художественных
наук 16 декабря 1923 года, он рассказывал: «Вся моя семья были именно шестидесятники.
Первые мои впечатления в детстве – это портреты Чернышевского и Писарева, которые висели
над столом отца и так и остались висеть до самой его смерти. Это были первые имена больших
людей, которые я научился лепетать. А следующее имя великого человека, которое я выучил,
было имя Дарвина. И, наконец, четвертое имя – Некрасова, поэзия которого была долгое время
единственно знакомой мне поэзией. В доме нашем не было ни Пушкина, ни Лермонтова – я

узнал их несколько позже, а стихи Некрасова я заучил с детства». Именно их он читал матери во время ее предсмертной болезни в 1920 году.

«Вот что было впечатлениями моего детства, вот что создало мое мирозерцание, мою психологию», – подытожил Валерий Яковлевич, добавив: «И я думаю, что какой она была в детстве, такой она осталась и до конца моей жизни». Эту фразу повторяли авторы популярных (а порой и научных) статей о Брюсове, стремясь выставить его последовательным материалистом, оторвать от «мистических туманов» символизма и объяснить его позднее сотрудничество с большевиками принятием их философии. Все, что не укладывалось в схему, – от юношеского увлечения спиритизмом до серьезных работ в области эзотерики и традиционных знаний – объявлялось недостойным внимания или замалчивалось.

Юности свойственно вольнодумство: в этом возрасте Владимир Соловьев, сын профессора и внук священника, отказывался ходить в церковь, а однажды выбросил из окна икону. В гимназические годы Валерий Яковлевич тоже «не верил в дух и не ходил к обедне», о чем с доброй иронией писал в поэме «Краски»: «И я вспомнил, что *был* матерьялистом и позитивистом» (курсив мой. – В.М.). Отвечая самому себе – пятнадцатилетнему атеисту, которому «навсегда указал дорогу» Огюст Конт, – двадцатипятилетний Брюсов говорил:

«Безумец! – воскликнул я, – знай, что ты будешь верить!
Будешь молиться и плакать пред Знаком Креста,
Любить лишь то, где светит живая мечта,
И все проклянешь, что можно весить и мерить!»

Другое дело, что он никогда не был церковным человеком – любая церковность была чужда его духу – но создал ряд стихотворений на библейские темы, которые включались в антологии «душеполезного чтения», одобренные духовной цензурой. В отличие от многих символистов и их эпигонов, в его поэзии, при всем эпатаже, нет ни скрытого, ни тем более открытого кощунства над религией. А вот как выглядит учение материализма в стихотворении «Истинный ответ»:

«Единенье атомов случайных –
Наша жизнь, смерть – распаденье их».
Рассуждает, фрак надев, о тайнах
Черт в кругу учеников своих.

Кому угодно доверил бы поэт, посвящавший стих «всем богам», свои заветные мысли, но только не «хитрому черту с профессорской осанкой»...

С переездом на Цветной бульвар в 1878 году Валерий впервые соприкоснулся с миром купечества: «типичный вид московской окраины, ничем не отличной от провинции» (18), – хотя родители всячески сторонились «темного царства», которое их сын четверть века спустя красочно описал в поэме «Мир»:

Амбары темные, огромные кули,
Подвалы под полом, в грудях земли,
Со сходами, припрятанными в трапах,
Картинки в рамочках на выцветшей стене,
Старинные скамьи и прочные конторки,
Сквозь пыльное окно какой-то свет незоркий...
Я помню: за окном, за дверью с хриплым блоком
Был плоский и глухой, всегда нечистый двор.

Стеной и вывеской кончался кругозор
 (Порой закат блестел на куполе далеком).
 И этот старый двор всегда был пуст и тих,
 Как заводь сорная, вся в камышах и тине...

Брюсов начал рассказ фразой: «Я помню этот мир, *утраченный мной с детства*», – и пояснил: «Я берегу его – единое наследство / Мной пережитых и *забытых лет*» (курсив мой. – В.М.). Можно не сомневаться, что он это видел. Но какой отпечаток увиденное наложило на его личность, на его сознание?

Если воспринимать сказанное буквально, он вырос в амбаре. Так поступил Ю. Каменев (Л.Б. Розенфельд), автор первой марксистской статьи о поэте, в заглавии которой «О Ласковом Старике и о Валерии Брюсове» (19) использован ключевой образ этого стихотворения: «У поэзии Брюсова был “хозяин”, и хозяином этим был – амбар». Да, в «Мире» сказано: «И я дышал тем ядом, / И я причастен был твоей судьбе!» Однако ни одна из автобиографий, ни одно из мемуарных свидетельств не позволяют говорить о влиянии «амбара» и о его преодолении. Когда Максимилиан Волошин заявил об автобиографичности «Мира» применительно к дому Брюсовых, Валерий Яковлевич решительно возразил: «Поэма “Мир” говорит *вовсе* не о доме на Цветном бульваре; дом этот принял свой теперешний вид лишь за последние годы, а прежде был *иным*; детство мое прошло *не* в этом доме и т. д.» (20). Напостовский критик Г. Лелевич и через много лет утверждал, что «в поэме “Мир” [...] Брюсов дал несравненную по выразительности картину обстановки, *окружавшей его в раннем детстве*» (курсив мой. – В.М.)). Источником вдохновения автора стала статья Каменева, из которой он заимствовал представление о «полусонном мечтателе, задыхающемся в пыльном амбаре, истомленном его могильной тишиной, оторванном от борющихся и созидających людей» (21). Марксисты явно перепутали Валерия Брюсова с Кузьмой Русаковым: от власти «дряхлого, ветхого мира» освободились уже родители поэта.

Материалистическое воспитание выразилось еще и в том, что Брюсов с детства был начитан в естественной истории и географии, а затем во всеобщей истории и увлекался популярными биографиями великих людей, вроде книги Гастона Тиссандье «Мученики науки». За ними последовала классика литературы для юношества – Жюль Верн, Гюстав Эмар, Фенимор Купер, Майн-Рид. Яков Кузьмич «вывел откуда-то правило, что, в сущности, дети и взрослые должны читать одно и то же». Запойное чтение Жюль Верна произвело на Валерия «неотразимейшее действие», заставляя «леденеть от ужаса» и нередко доводя до истерик и ночных кошмаров. Родители отбирали слишком волнующие книги, но читать вместо них «Игрушечку» или «Детский отдых» мальчик уже отказывался. «С этого времени в своих играх я стал воображать себя то путешественником в неизведанных странах, то великим изобретателем. Очень любил я изображать летательный снаряд. Строил его из книг и деревяшек и летал с ним по комнатам. Столы и комоды были горы, а пол – море, где я часто и терпел крушения, попадал на необитаемый остров – ковер, жил по-Робинзоновски и т. д. С этого же времени я стал мечтать о своей будущности как о будущем великого человека, и меня стало прельщать все неопределенное, что есть в гибком слове “Слава”».

Воспитать в юном Валерии поклонение «кумиру Пользы» не удалось, хотя в возрасте трех или четырех лет он проповедовал учение Дарвина во дворе дома Бари, «приводя в ужас няnek и гувернанток». Его увлекали не тычинки и пестики, не перспектива «резать лягушек», но дальние страны и великие люди. «Кажется, родители мои еще до моего рождения порешили, что их первенец будет необыкновенным человеком. По крайней мере, у меня самого было почему-то такое убеждение. Я с самых первых лет привык смотреть на сверстников свысока. Вероятно, способствовало этому то, что я рос среди взрослых и слышал от них много, о чем мальчишки, мои ровесники, и понятия не имели. [...] Мальчишки играть со мной не любили, тем более

что мне хотелось первенствовать, а, по их понятиям, у меня не было для этого никаких преимуществ. Я предпочитал играть один и даже больше любил играть в комнатах. [...] Так рос я среди женщин и младших братьев, окруженный обожанием и поклонением, привыкший повелевать и всё устраивать по-своему, мечтающий о славе и победах». Дома, особенно во время игры в индейцев, он командовал младшим братом Колей и двоюродным братом Николаем Павловым (сыном маминой сестры Фаины), которого почему-то прозвал «Тонькой». Запоздалый контакт с реальным миром оказался тем более трудным.

Лето 1883 года Брюсовы проводили в Медведково, прельстившись дешёвизной дач, хотя, по уверению популярного путеводителя, это место «с неопрятными лачугами, расположенное на солнцепеке, представляет мало удобств для дачной жизни» (22). Волей-неволей девятилетнему Валерию, ещё не ходившему в гимназию, пришлось играть с другими мальчишками, среди которых верховодил Сережа Бугрецов (23), «мальчик очень развитый для своих лет (кажется, пришлось ему с семьёй пережить разные трудные положения, что очень быстро развивает)». Они легко сошлись на игре в индейцев, но потом Сережа за что-то поколотил Колю Брюсова, и Матрена Александровна запретила детям общаться с ним. «Мало в жизни знаю я больших унижений, пережитых мною, – вспоминал Валерий Яковлевич через семнадцать лет. – Обидно, конечно, было не то, что я лишился любимого товарища, а то, что я *должен* был подчиниться, на мой взгляд, бессмысленному приговору. [...] Хочется крикнуть всем родителям и всем воспитателям: много думайте раньше, чем подвергать своих детей унижениям».

Ещё большим унижением стала первая драка со сверстником, необходимый этап мальчишеской самоидентификации. «Некто К., мальчик постарше меня, неотступно вызывал меня на драку. Я не отказался. Но я совсем был неопытен в этом деле. К. повалил меня, сел на меня и бил меня кулаками по лицу. [...] Потом он спросил: “Признаешь себя побежденным?” Я сказал: “Признаю”. Он меня отпустил, и я ушел... Я убежал в парк, я влез на дерево и сидел там в ужасе, стараясь уяснить, что произошло. Мне казалось, что всё погибло, что больше я никогда не посмею смотреть на людей, я хотел идти на Язу и утопиться».

Официальная версия выглядит более оптимистически. Это письмо в редакцию журнала «Задушевное слово», которое увидело свет за подписью «Вася Брюсов, 10 лет», – первые строки Валерия Яковлевича в печати:

«Позвольте мне вам описать, как мы провели лето в селе Медведкове, в котором мы в 1883 году жили на даче. Расположено оно на гористой местности, покрытой молодым лесом. Направо от нашей дачи был большой запущенный парк. Налево склон к речонке Чермянке; на другой стороне этой реки густой лес. Позади нас лес; тут стояла совершенно высохшая сосна, под которой, по преданию, зарыт клад. Прямо перед нами стояла церковь, позади ее склон к Язу, в которую впадает Чермянка. На другой стороне Язы лес. Время проводили мы очень весело: гуляли, купались, играли, учились только 1 час в день. Часто во время прогулки мы видели зайца или лисицу, но они убегали при нашем приближении. В Москву ездили мы редко, да и не любили этого, в Москве нам было скучно» (24).

Пытаясь как можно подробнее вспомнить свою жизнь, Брюсов сделал ряд интересных признаний. Покоритель неизведанных стран «очень боялся взглядов прохожих. Мне все казалось, что у меня что-то не так. Я всего более боялся поступить не так, как следует. Менее развязным нельзя было быть. Когда на меня смотрели, мне начинало казаться, что я хромаю, и я не знал, куда деть руки и глаза. Заговорить с незнакомым я никогда не осмеливался. [...] Я вечно стыдился самого себя, особенно же в обществе. Я не умел кланяться, не умел благодарить, до смешного не умел вести себя, и сознавал это и мучился каждый миг. Быть в гостях, особенно у новых лиц, было для меня мучением».

С шести лет Валерию нанимали гувернанток, затем домашних учителей из студентов. Дела семьи шли хорошо, платили им исправно, за качеством занятий не следили, поэтому

«учиться с гувернантками мне было нестерпимо скучно, и учился я довольно-таки плохо». Оказавшись в 1885 году сразу во втором классе гимназии Франца Ивановича Креймана в доме 25 на Петровке – первой частной гимназии в Москве, где учились в основном дети состоятельных родителей, – балованный первенец попал, как ему показалось, в настоящий ад.

«Надо отдавать или в старшие классы, где сумеют отнестись к новичку, – суммировал он свой печальный опыт, – или в I-й класс, где все новички. Во II-м же классе ученики образуют из себя общество, уже обжились и встречают новичков очень недружелюбно. К тому же я не был приспособлен к мужскому обществу, все еще оставался красной девицей, не умея ни драться, ни ругаться. [...] Сначала меня только дразнили тем, что я “Брюс”, что я купец [...] потом перешли к толчкам, наконец, к побоям. [...] Я негодовал, возражал, но не умел защититься. Дома, конечно, я не рассказывал об этом. Кажется, уверял, что у меня много товарищей, что я очень хорошо сошелся с товарищами». Поначалу с ним дружил только «общественный шут» Василий Строев, который, «оказался самым образованным из всего класса», «прекрасно знал древнюю историю, был знаком с учением Дарвина, немало читал и умел читать».

Литературный враг Брюсова Юлий Айхенвальд пустил в его адрес злое, но запоминающееся определение «преодоленная бездарность». В отношении преодоления он был прав: Брюсову приходилось очень многое преодолевать, прежде всего в психологическом плане, что сделало его взросление мучительным.

Глава вторая **«Я рожден поэтом...»**

1

Брюсов выучился читать в три года, писать – пока еще печатными буквами – годом позже. Яков Кузьмич делал приписки для сына почти в каждом письме, и уже 28 августа 1878 года тот отвечал: «Папаша, я сам читаю твои письма. Валя». Через год в отцовских письмах появляются французские слова. «Милый папа, я не говорю по-французски, потому что фраз не умею составлять, слов же много знаю», – ответил сын, но вскоре сам стал подписываться «*ton fils Valerri*»⁴. После переезда на Цветной бульвар мальчика начали учить систематически, и он уже не расставался с пером и бумагой. «Я пересказывал сначала сведения из естественной истории о китах, о тиграх в маленьких тетрадочках, любил составлять краткие перечни животных. [...] Потом стал сочинять рассказы, но мне мешало то, что я не мог писать скоро: перо не поспевало за мыслью».

Важное место в жизни семьи Брюсовых занимали газеты и журналы. Семи лет Валерий сделался их исправным читателем и оставался им до конца жизни. «Ежедневно я читаю четыре газеты: для пятой уже не хватает сил», – писал он Александру Измайлову 29 декабря 1911 года (1). Еще до поступления в гимназию он – как некогда отец – издавал рукописные журналы «Природа» и «Дальние страны», названия которых говорят сами за себя.

К 1881 году относится его первое стихотворение – или, по крайней мере, первое из сохранных автором – «Соловей» (2):

Соловей мой, соловей,
Сероперый соловей.
Распевай ты средь ночей,
Милу песню начинай,
Веселее распевай
И подолже не кончай!

Говорить о чем-либо влиянии здесь не приходится, хотя Некрасова Брюсов, по его словам, уже прочитал. Через десять лет он заботливо переписал «Соловья» в тетрадочку, озаглавленную «Мои стихи. Сборник всех моих стихотворений и набросков с 1881 года». В предисловии говорилось: «Здесь собраны все мои сохранившиеся стихи, хотя бы незначительные, неотделанные отрывки или первый стихотворный лепет восьмилетнего ребенка». Смотрится как материал для будущего академического собрания сочинений. К этому же времени, 1890–1891 годам, относятся и его первые автобиографические опыты, имевшие подчеркнуто литературную форму. «Очерк, написанный всего на 12 страницах, разделен на 4 главы, обозначенные римскими цифрами, из которых каждая разбита еще на мелкие главки, пронумерованные арабскими цифрами. Каждой главе и главке предшествуют эпиграфы из Надсона, Майкова, А.К. Толстого или из стихотворений самого автора. У каждой главы есть заглавие, есть общее вступление и предисловие» (3).

Привыкший дома «командовать» другими детьми и вызывать восхищение родителей и нянек, в гимназии Валерий оказался в отвергавшем чужаков мальчишеском коллективе, к тому

⁴ Твой сын Валерий (*фр.*).

же не посвященный в «тайны пола» и «матерную словесность». Завоевать симпатии одноклассников помогла литература. В отличие от них, он много читал и умел увлекательно излагать прочитанное: «Около меня во время рекреаций (перемен. – В.М.) образовывался целый кружок, и я рассказывал всё, что успел прочесть и чего они еще не знали, – иные романы Ж. Верна, Майн Рида, потом Понсон дю Террайля, Дюма, Габорио... Позднее я стал даже готовиться к этим рассказам усерднее, чем к урокам. Рассказы мои имели громкий успех. Приходили слушать и из старших классов».

Когда они учились в третьем классе, друг и однокашник Брюсова Владимир Константинович Станюкович, племянник знаменитого писателя, задумал издавать рукописный журнал «Начало». «В эти дни я и познакомился с Брюсовым, – вспоминал он сорок лет спустя. – [...] Его худая, сутулая фигурка в мешком сидящей блузе и в серых штанах возникла передо мною, и мы быстро сдружились. У Брюсова оказалось много материала для “Начала”. Это были замыслы и наброски повестей, полные приключений и тайн. Я сам был начинен Купером, Эмаром, Майн Ридом и Жюль Верном, но знания Брюсова в этой литературе значительно превосходили мои. К тому же я совершенно не знал Э. По, которого Брюсов читал и любил уже в это время. Еще больше меня удивила его память, позволявшая ему рассказывать прочитанные вещи почти дословно. Мы уселись поближе друг к другу – на одной парте – и без умолку, поскольку нам не мешали учителя, делились добытыми знаниями. [...] Эта потребность делиться друг с другом прочитанным (а читали мы запоем) продолжалась все время нашего совместного пребывания в гимназии. С утра мы искали друг друга, были неразлучны на большой перемене и по окончании уроков часто засиживались в классе» (4).

Брюсов взял «Начало» в свои руки. О серьезности намерений редактора-издателя говорило объявление в первом номере: «Открыта подписка на еженедельный детский журнал “Начало”. Подписная цена в год с доставкой и пересылкой в другие города и за границу 3 р. В Москве 1 р. 50 к., без доставки 1 р. 25 к.». «Начало» сыграло заметную роль в жизни юного сочинителя: «До того времени я писал немало, но случайно, не задаваясь мыслью, зачем это. Появление журнала “Начало” как-то сразу подтолкнуло меня. *Я вдруг понял, что я прежде всего литератор* (курсив мой. – В.М.). Я стал писать без конца стихи, рассказы, статьи. Содержание преимущественно касалось все еще индейских приключений, с которыми я не расстался. Теории стихосложения мы еще не знали совсем и если выдерживали размер, то только чутьем. [...] Журнал “Начало” одно время заинтересовал весь класс. В журнале сотрудничали многие, его усердно переписывали. Потом интерес ослаб. Журнал продержался до Рождества. После Рождества Станюкович отказался. Я продолжал его один, но был его единственным сотрудником и единственным читателем».

В 1937 году в архиве Брюсова хранились семнадцать номеров «Начала» за 1886 и 1887 годы, целиком написанных его рукой: от четырех до шести страниц в четвертку бумаги. Затем И.М. Брюсова передала номера с 9-го по 16-й в Институт русской литературы, а другие в Кабинет брюсоведения Ереванского государственного педагогического института имени Брюсова (ныне Центр брюсоведения Ереванского государственного лингвистического университета) (5).

Среди авторов «Начала», кроме Брюсова и Станюковича, фигурируют Н. Орлов, К. Фрейтаг, а также Шапка, Пятнистый Ягуар, Козел, Кушак, Граф и Спиппер. Под большинством экзотических псевдонимов скрывался сам Валерий Яковлевич, ибо те же произведения обнаруживаются в его детских тетрадях. Перехватив инициативу у Станюковича и став единоличным хозяином всего предприятия, Брюсов стремился не только сделать журнал разнообразным и интересным, но и показать, что у него большой авторский коллектив. Чутье прирожденного литературного вождя подсказало ему правильный ход – выступать одновременно под многими масками, по мере сил индивидуализируя каждую из них для придания этим личинам

максимальной достоверности. В полной мере он использовал этот прием в «Русских символистах», а затем в начальный период существования «Весов».

Чем заполнялись страницы «Начала»? Помимо стихов, беллетристики и статей, как полагось настоящему журналу, здесь были задачи, шарады и приложения, вроде сделанной от руки карты Голландии. Некоторые произведения – например, написанный в подражание Жюльо Верну рассказ «На Венеру» – публиковались с продолжением. Об общем художественном уровне говорит «Песнь троянцев»:

О Гектор, о Троя,
Погибли и вы!
Убили героя
Олимпа сыны.
Разрушили Трою
Не силой враги,
А хитростью злою
Победу взяли.

Как раз в это время Александр Бакулин давал внуку первые уроки стихосложения: «Когда мальчиком я начал писать стихи и об этом узналось, дед обратил на меня внимание. Сперва начал снисходительно разговаривать со мной, потом поучать меня технике стихотворства».

Тематика первых опытов видна из заголовков прозы, опубликованной в «Начале» и оставшейся в тетрадах: рассказ из индейского быта «Орлиное перо», роман «Куберто, король бандитов», этюд «Последний выезд» о гибели жокея, очерк «Сибирь». В набросках остались повести «Два центуриона» и «Легион и фаланга», трагедии «Цезарь и Помпей Великий». Многие из перечисленных тем можно найти во взрослой прозе Брюсова и среди его позднейших, но так и не воплощенных замыслов. «Ясно, что со всем этим писанием можно было справиться только при особо пристрастном отношении к нему, при большой одаренности и исключительном трудолюбии» (6).

В юношеском творчестве Брюсова проза (рассказы и статьи) занимает не меньшее место, чем стихи. Уже осознав себя литератором, он еще не сделал выбора между ними. Резонно предположить, что, отбирая произведения для «Начала», редактор не только руководствовался собственным вкусом, но и ориентировался на потенциальных читателей, которым авантюрные или фантастические повествования были ближе, чем лирические излияния. Как раз в это время – под непосредственным влиянием Станюковича – он прочитал Пушкина, Лермонтова и Надсона, особенно увлекаясь последним. «Страсть моя к литературе всё возрастала, – вспоминал Брюсов в «Моей жизни». – Беспреданно начинал я новые произведения. Я писал стихи, так много, что скоро исписал всю толстую тетрадь “Poésie”, подаренную мне. Я перепробовал все формы – сонеты, терцины, октавы, триолеты, рондо, все размеры. Я писал драмы, рассказы, романы... Каждый день увлекал меня всё дальше. На пути в гимназию я обдумывал новые произведения, вечером вместо того, чтобы учить уроки, я писал». Понятно, почему директор Крейман оставил его в четвертом классе на второй год.

Одноклассники с удовольствием слушали и читали Брюсова. Неудивительно, что ему захотелось видеть свои стихи в настоящих газетах и журналах: он посылал их в «Наблюдатель» и «Новости дня», но ответа не дождался. После письма в редакцию «Задуманного слова» он увидел свое имя – точнее, только инициалы «В.Б.» – лишь в сентябре 1889 года, в номере 37 журнала «Русский спорт» под небольшой статьей «Несколько слов о тотализаторе». «Напечатание ее я торжествовал как победу. Я показал статью всем ученикам, потом показал учителю русского языка – Виноградову. Он прочел и порешил: “Что ж, написано довольно правильно”».

Это относилось, конечно, к слогу, ибо содержание вряд ли он одобрял: я защищал тотализатор».

Брюсов пояснил, что отправил статью в редакцию инкогнито, поскольку «фамилия Брюсовых была очень известна в спортивных кружках». «Дело в том, что в [18]85 году отец стал посещать скачки и брал с собой меня. Сначала отец довольствовался игрой (верней, проигрывшем) в тотализатор, но позднее завел себе собственную лошадь, сначала одну, потом – целую конюшню. Я жадно пристрастился к скачкам, мне нравилась эта борьба лошадей и жокеев за первенство (вот откуда этюд о гибели жокея в «Начале». – В.М.), борьба конюшен за выигрыш. [...] Сначала я довольствовался составлением отдельных отчетов к действительным скачкам. Потом увлекся новой игрой. Я вообразил мир спортивной жизни, будто бы существующим в американском городе С.-Луи. [...] Я создал в воображении десятки лиц: владельцев лошадей, жокеев, случайных участников, – всем им были даны строго очерченные характеры, которые не нарушались; все они участвовали в общей интриге бесконечного романа. [...] Позднее я стал издавать рукописный журнал, где сотрудниками были все те же лица, причем опять-таки стиль и писания каждого соответствовали его характеру. Уже из этого видно, как путалось у меня все в голове – поэзия и прочитанные романы, спорт и детская игра, и жажда литературной деятельности».

Это был не первый параллельный мир, который придумал себе юный Брюсов. Но он отличался от странствий по далеким материкам, межпланетных перелетов и перемещений в эпоху Цезаря или Александра Великого тем, что постоянно подпитывался реальными, личными впечатлениями. Он же открыл Валерию Яковлевичу дорогу в печать, правда, инкогнито. Через полтора года после публикации в «Русском спорте», 26 февраля 1891 года в газете «Листок объявлений и спорта» появилась его анонимная статья «Немного математики». Автор попытался установить закономерность и вывести формулу бега лошади, слагавшуюся из скорости пробега, расстояния, сопротивления, вызываемого грунтом, и усталости, основывая расчеты на примерах конкретных забегов известных московских рысаков. Публикации предшествовало первое в жизни Брюсова личное знакомство с настоящим писателем (если не считать гимназических педагогов, занимавшихся литературой) и редактором – Владимиром Гиляровским.

«Дядя Гиляй», сам заядлый лошадиный, подробно описал начало их знакомства, продолжавшегося почти 35 лет. Дело было на бегах: «Завсегдатай “Яра” Иван Иванович [...] подошел к соседнему столику, где сидели солидный пожилой (42 года. – В.М.) мужчина с рыжей бородой и другой – с коротко подстриженными усами, а на стуле стоял гимназист и в бинокль наблюдал лошадей.

– Яков Кузьмич, меня просил цыган Федор Соколов узнать – выиграет ли сегодня кандидатка ваш Еврипид? [...]

– Думаю, что не выиграет... Мы сейчас вот с Бараниным рассуждали... Он ведь его тренирует – и говорит, что шансов нет – фунтов пять сбросить бы.

– Ну, а Этна как? Она на поощрительный приз скачет...

– Этна не в кондициях... Так, для галопа пускаем! – вдруг, соскочив со стула, отрезал гимназист. Сел, отвернулся и снова взялся за бинокль.

Иван Иванович извинился, встал и направился к своей компании.

– Этна сегодня легко выиграет, но если этому усатому сказать, он разблаговестит, и дадут за нее гривенник на рубль, – заявил гимназист, как только Иван Иванович отошел.

– Ты уж у меня, Валерий, известный политик... Все у тебя рассчитано, – ответил мужчина с рыжей бородой, отец гимназиста.

В тотализатор он обычно не играл, только каждый раз брал на свою лошадь один билет и то не ради азарта, а просто так, без всякого расчета. За билетом он посылал сына, а тот, когда знал наверное, что лошадь выиграть не может, клал деньги в карман и говорил отцу:

– Я ставить не буду и страхую твой выигрыш, даром жечь денег не следует. А на эти деньги я книг куплю...

– Ах, дипломат, дипломат! И все-то у тебя с “холодным вниманием рассудка”.

Яков Кузьмич, развитой и начитанный, любил щегольнуть цитатой, особенно за стаканом вина, в дружеской беседе. Чистокровные лошади были его страстью. [...] У него были всегда только две лошади второстепенные – Этна и Еврипид. Они стояли на конюшне тренера Баранина, выигрывали редко, а все-таки окупали себя и доставляли огромное удовольствие владельцу, страстному любителю скачек, как и его сын, гимназист. [...] Однажды сын пришел ко мне в редакцию, раскрасневшийся, взволнованный и робко подал статью по вопросу, в то время сильно волновавшему спортсменов. Написано было бойко, освещение верное. Я ее напечатал в ближайшем номере, и велика была радость юноши, увидавшего в печати свое первое произведение» (7).

«Здесь я должен сознаться в маленькой мистификации, – поведал Брюсов об этой публикации, прошедшей тогда незамеченной. – Я сам написал возражение на свою статью и послал его в “Русский спорт”. Возражение было напечатано⁵. Я хотел писать контр-возражение в “Листке спорта”, но Гиляровский объявил мне, что он в принципе “против полемики”». К подобной полемике с самим собой Брюсов позже не прибегал, однако прятался за псевдонимами не только для мнимого увеличения числа своих соратников: «чтобы одно копье казалось тысячей копий», как говорят японцы, – но и при обсуждении вопросов, говорить о которых от своего имени считал неудобным. Поэтому книгу Андрея Шемшурина «Стихи В. Брюсова и русский язык» раскритиковал «В. Бакулин», а на «блистательные карикатуры» Корнея Чуковского в книге «От Чехова до наших дней» ответил «Аврелий»: «Я думаю, что Валерий Брюсов, прочтя статью о себе в книге г. Чуковского, несколько дней не мог отделаться от навязчивой мысли: а что, если я в самом деле поэт прилагательных?» (8). Впрочем это не более чем игра, поскольку в литературных кругах хорошо знали, кто скрывается за обеими масками.

Приобщение к скачкам совпало у гимназиста Брюсова с приобщением к «тайнам пола». «Первые ощущения полового чувства» он сам относил к возрасту 6–7 лет, сообщая в «Моей жизни», что «любил заговаривать о соблазнительных для моего возраста вопросах» и «тогда же испытал первые ощущения эрекции». Гимназистом он «стал предаваться странным и страстным мечтам [...] долго, до рассвета иногда, или пока не засну. Страх еще жил в этих мечтах, ведь была в них доля садизма. Я с особой охотой рисовал себе картинки пышных девушек и особенно беременных женщин. Страсть к систематике не оставляла меня и тут. В моих ночных мечтах стали повторяться одни и те же имена, а позднее я стал записывать свои мечты и образовал из них длиннейшие романы». Эти же истории, дополненные чтением фривольных французских книг, свободно попадавших в его руки, он пересказывал одноклассникам, упрочив среди них свою популярность. Так в судьбе Брюсова переплелись эротика и литература.

Впрочем, атмосфера продажной любви сопровождала его с детства, по месту жительства. Ставшие в XXI веке районом элитного жилья, Трубная площадь, в которую упирается Цветной бульвар, и переулки, идущие от него в сторону Сретенки, уже в начале XIX века считались «московской Субуррой» (ср. в поэме Василия Пушкина «Опасный сосед»: «Пошел на Сретенку, к б...м»). «Чтобы дойти до Брюсова, – вспоминал Станюкович, – нужно было либо пройти по Неглинному проезду, пересечь толкучку “Трубы” (обиходное название Трубной площади. – В.М.) [...] либо спуститься со Сретенки по грязным переулкам, пропитанным перегаром пива и еще каким-то невыразимо противным и в то же время волнующим запахом. [...] Много лет совершал я эту дорогу и каждый раз, пересекая Трубную площадь, чувствовал, что вступаю в жуткую зону. В незавешенном окне гостиницы, стоявшей на углу, я видел почти

⁵ Итог: «Строго математические выводы менее всего могут быть приложены там, где приходится иметь дело с живым органическим существом» (И.П. Законы спорта // Русский спорт. 1891. 16 марта. С. 167).

голую красивую девушку, манящую меня к себе. [...] Все это волновало меня – мальчика, юношу. Я ужасался – как могут они спокойно жить в таком омуте?! Но я никогда не говорил об этом с Брюсовым. Если мы шли вместе среди мрачного шабаша – мы, не обмениваясь замечаниями, проходили мимо» (9).

Эти отталкивающие и в то же время волнующие впечатления, разумеется, наложили отпечаток на Валерия Яковлевича и отразились в его произведениях. Но когда в 1907 году Волошин, рецензируя его собрание стихов «Пути и перепутья», написал: «Вся юность Валерия Брюсова прошла перед дверьми Публичного Дома» (10), – Брюсов отреагировал немедленно и резко, послав автору официальный протест для публикации в той же газете, который снабдил вежливым, но решительным личным письмом: «Все, что Вы говорите о моей поэзии, хотя я и не со всем согласен, кажется мне очень интересным и очень ценным. Все, что Вы говорите обо мне лично, меня очень сердит и кажется мне очень неуместным. [...] Кроме того, Вы знаете меня (т. е. мою личную жизнь) в общем мало, и многие из Ваших сообщений совершенно неверны» (11). Для печати он разъяснил: «Довольно беглое, в общем, и ни в каком случае не интимное знакомство г. Волошина со мною не давало ему права рассказывать своим читателям небылицы о моем детстве, ему вовсе неизвестном» (12). После обмена объяс-

нениями инцидент был исчерпан, и Волошин более не говорил о влиянии «московской Субурры», пообещав не касаться «ни наружности, ни личности» поэта.

В «Моей жизни» – предназначавшейся для печати, но оставшейся неопубликованной – Валерий Яковлевич подробно описал свой первый любовный опыт в наемной комнате с «бульварной феей», когда ему было 13 лет. О результате он поведал с подчеркнутой откровенностью: «Я старался внушить себе, что это та минута, какой я ждал так давно, но все было мучительно пусто и глупо. Прощаясь, я был преисполнен тоской. Я был разочарован до глубины души моей. [...] Дома меня ждали горькие сетования матери: “Ах, Валя! Валя!” Отец написал мне письмо, где говорил (сказался шестидесятник! нигилист!), что он не смеет препятствовать свободе моих поступков, но предупреждает меня, что я могу по неопытности попасть в беду» (13).

В «Автобиографии» 1913 года – первой, своевременно дошедшей до читателя, – Брюсов, уже известный на всю Россию писатель, рассказал о том, как дошел до жизни такой. «Соблазны оказались для меня столь неодолимы, что я стал посвящать им значительную часть своего времени. [...] Наша семья переживала тогда трудную пору жизни. Отец [...] запутался в долгах, которые дед отказался платить. Мой младший брат (Николай) был долго и тяжело болен болезнью (опухоль мозга), которая и свела его в гроб; мать целые дни проводила с ним. На мое поведение никто не обращал внимания. Мне свободно предоставляли возвращаться домой поздно ночью или даже под утро, и это в связи с тем, что у меня всегда были карманные деньги, открывало мне полную возможность наслаждаться “ночными приключениями”. Понемногу я отошел от того круга товарищей, с которыми меня сблизила любовь к литературе [...] и сблизился с другим кругом – любителей кутежей и попоек». Его ближайшими товарищами стали «красивый и разгульный» Николай Эйхенвальд, сын модного фотографа, Владимир Краевский и Александр Ланг, сын книготорговца с Кузнецкого моста, «странный долговязый юноша с темными, безумными глазами» (14). Первые двое быстро уйдут из жизни Брюсова, не оставив следа, зато третий сыграет в ней заметную роль, став участником его литературного дебюта и оставшись добрым приятелем до своей смерти в 1917 году.

Увлечшись кутежами, Валерий забросил гимназию. «В результате в моих отметках все чаще начали появляться “двойки”, а затем и классические “единицы”. [...] Однако, покинуть гимназию Креймана мне пришлось все же по другому поводу. Уже в 4-ом классе я числился на самом дурном счету у гимназического начальства за свои “вольнодумные” суждения, которые мне случалось, по детской заносчивости, высказывать в лицо учителям. Перейдя не без труда в 5-й класс, я вздумал возобновить издание рукописного гимназического журнала. Но на этот раз литературе в моем “Листке V класса” было отведено лишь второстепенное место. Листок

был посвящен гимназическим “злобам дня” и, страшно сказать, политике. Почти единственным сотрудником был я сам и еженедельно, в 5–6 экземплярах, распространял среди товарищей свой “Листок”, наполненный памфлетами против учителей, гимназического начальства и, отчасти, критикой различных явлений общественной жизни». В архиве Брюсова хранилось шесть номеров «Листка» (с 28 октября по 9 декабря 1889 года); «каждый номер занимал кругом исписанный лист писчей бумаги» (15).

Что стояло за этим самиздатом, кроме литературского и редакторского зуда? Во-первых, Брюсов был заметно начитаннее своих одноклассников, которые, повзрослев, начали это ценить. Во-вторых, он «считал своим долгом прочитывать от доски до доски (с политическим и внутренним обозрением) все русские журналы, которые мы по традиции брали из библиотеки». В результате он начал задумываться над политическими и социальными вопросами, трактуя их под влиянием отца в «шестидесятническом» духе. «Под влиянием тех же идей я был крайним республиканцем. [...] Я считал долгом презирать всякое начальство, от городского до директора гимназии». Полагаю, Брюсов читал «Вестник Европы», «Дело» и «Русское богатство», а дома было много старых номеров «Отечественных записок» и «Современника». Они стали образцом для «Листка V класса», как «Вокруг света» и «Природа и люди» – для «Начала».

Уже в первом номере появилась статья редактора «Народ и свобода», имевшая целью «кинуть взгляд на различные формы правления, с целью выяснить, что понимали под именем свободы древние и новые народы». Вывод: «Итак, здесь (в древней Греции, Франции и Соединенных Штатах. – В.М.) во главе правления стоят люди, которых большинство выдвинуло вперед». Этот пассаж начальство, которому всё становилось известно (впрочем, Брюсов не скрывал своей деятельности), кое-как стерпело, но критика гимназических порядков показалась ему недопустимой. «Франц Иванович призвал меня к себе в кабинет, ходил большими шагами по комнате и упрекал меня жестоко.

– Что это такое! Это против наставников! Это против нравов!

Я отвечал ему твердо, то есть, вернее сказать, нагло. *Я привык наглостью скрывать врожденную робость* (курсив мой. – В.М.). Надо, впрочем, сказать, что я рисковал немногим. Дома уже решено было, что я перейду в другую гимназию. [...] После разговора с Францем Ивановичем я больше не возвращался в его гимназию».

С новой школой ему повезло – Брюсов выдержал экзамен в шестой класс располагавшейся на Пречистенке (дом 32) частной гимназии Льва Ивановича Поливанова, педагога-новатора, автора известных книг о русских классиках и хрестоматий по отечественной литературе, общительного и остроумного человека, относившегося к ученикам с уважением и любовью. Здесь учились в основном сыновья профессуры и либеральной интеллигенции, включая детей Льва Толстого. О гимназии многословно и восторженно написал Андрей Белый, тоже «поливановец». Лев Иванович «поражал воображение всех, приходящих с ним в конкретное соприкосновение»: «не человек, а какая-то двуногая, воплощенная идея: гениального педагога. [...] Изумительный педагог и учитель, действующий от сердца к сердцу. [...] В девяностых годах она была лучшей московской гимназией; в ней отрицалась “казенщина”; состав преподавателей был довольно высок; преподаватели принадлежали к лучшему московскому, культурному кругу; не одною силою педагогических дарований их должно оценивать, а фактом, что человек, интересующийся культурою, в них доминировал над только “учителем”. [...] Поливановская гимназия противопоставлялась казенным; противопоставлялась и Креймановской. [...] От Креймана попадали к нам лучшие элементы, не мирящиеся с креймановским составом, подчеркнуто буржуазным; пример – Брюсов; прочтите, какую тоской веет от его креймановских впечатлений; наоборот, появляются бодрые, здоровые ноты чисто гимназических интересов в гимназии Поливанова» (16).

Перейдя к Поливанову, Валерий Яковлевич не сразу расстался с прежними привычками и приятелями, прежде всего с Эйхенвальдом, с которым, впрочем, не только шатался по бульварам и кафе, но и играл в шахматы. «Мы стали одеваться, насколько могли, по последней моде. Мы усвоили себе пренебрежительные манеры, будто бы свойственные истинным дэнди. Официанты в ресторанах называли нас “ваше сиятельство”. Мы небрежно бросали на чай рубли, когда у самих в портмоне оставались копейки. [...] Собравшись часов в 5 у кого-либо из своих, мы при первых сумерках небрежной походкой – тросточки в карманах – шли на бульвар, торжественно раскланиваясь со знакомыми, окидывали дерзкими взглядами женские лица, стараясь говорить пошлости и гадости». Откликаясь несколько лет спустя на первый выпуск «Русских символистов», некий «Иванушка Дурачок» писал в «Новом времени»: «Появление этой книжечки на ниве русской поэзии соответствует появлению пропитанных пачулей полуразвалившихся бульвардье среди толпы наших деревенских парней и девушек» (17). «Поливановский период обрывает в Брюсове пошлость; я думаю, что это – влияние гимназии» (18), – к такому выводу пришел Белый после прочтения «Моей юности» и дневников старшего друга-врага. Однако новых друзей, влияние которых могло бы сравниться с влиянием Ланга или Станюковича, в поливановской гимназии Валерий Яковлевич не завел.

Какими бы пошлыми ни были бульварные знакомства, с ними связано одно из сильных литературно-эротических переживаний взрослого Брюсова – роман с Елизаветой Федоровой (выведена в «Моей жизни» под именем «Елены Викторовой»), случившийся как раз во время перехода от Креймана к Поливанову, так что к вступительным испытаниям он готовился не слишком прилежно. В этой банальной истории, подробно описанной им самим, интересно следующее признание: «Моей заветной мечтой было обольстить девушку. Во всех читанных мною романах это изображалось как нечто трагическое. Я хотел быть трагическим лицом. *Мне хотелось быть героем романа* – вот самое точное определение моих желаний. [...] Я писал стихи к ней, бледные и тягучие, – такая же отраженная поэзия, как отраженным было и мое чувство».

Лиза и ее старшая сестра Мария, молодые, но уже искушенные жизнью дочери небогатого отставного чиновника, искали развлечений, а в перспективе подумывали о выгодном замужестве, так что к кавалерам относились серьезно. Эйхенвальд был попроще: «скоро они начали целоваться, искать уединения». Брюсов «трепетал», но «не осмеливался ни разу сказать ей о любви, и только намекал о том длинными стихотворениями, которые посылал ей в письмах». «Я писал Елизавете Викторовне, – занес он в рабочую тетрадь, – длинные послания по 2–3 листа, наполненные философией (которую начал изучать) и поэзией. Не знаю, читала ли она их» (19). Судя по рассказу Брюсова, не читала. 1 ноября 1891 года в ответ на просьбу о свидании он получил от нее записку: «К сожалению, не имею вечера, чтобы провести его с вами, то есть проскучать». Обольщение не состоялось, хотя именно Елизаветой Федоровой Брюсов открыл свой «дон-жуанский список», составленный по примеру пушкинского (20). Остались стихи, написанные в тот вечер:

Ты немного со мной поиграла:
 Все, что было святого во мне,
 Что таилось в душе, в глубине –
 С любопытством ты все изломала
 И шутя, как дитя, осмеяла.
 Сорвала покрывало с заветной мечты
 И над нею довольно натешилась ты...

Но, процитировав это подражание Апухтину (опускаю еще две строфы в том же духе), Валерий Яковлевич честно признался: «Это была ложь, ложь самому себе... Я хорошо знал, что "заветные мечты" тут ни при чем».

В сентябре 1890 года началось ежедневное хождение в новую гимназию. Брюсов снова оказался среди незнакомых, но здесь его приняли много лучше: он особо отметил, что «у Поливанова, где гораздо больше было аристократических фамилий, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь в самом младшем классе хвастал своим происхождением». «Я во время перемены бродил взад и вперед по зале, слагал в голове стихи, невпопад отвечал тогда на задаваемые вопросы. [...] Должно быть, зрелище было довольно смешное. Особенно донимали меня первои второклассники, они просто начинали дразнить меня, как невиданного зверя». Поступивший к Поливанову осенью 1891 года гимназист Боря Бугаев, на семь лет моложе нашего героя, Брюсова не дразнил, но его «чуждую» внешность запомнил на всю жизнь.

2

Поливанов всячески поощрял литературные занятия своих учеников, не давя на них, но развивая их вкусы. В выпускном классе на заданную тему о Горации Брюсов написал большой рассказ из римской жизни «У Мецената», отмеченный знанием предмета и не лишенный литературных достоинств (21). «Поливанов надписал мне по сочинению: "Подобные сочинения должны быть приватными занятиями, которым нельзя не сочувствовать, но нужно упражняться и в *сочинениях школьных*, которые имеют свои требования, для вас очень и очень небесполезные", – но в журнале поставил пятерку. Следующую тему, стихи Пушкина: "О, люди, жалкий род, достойный слез и смеха", – я написал, применяясь к "ученическим требованиям", и третий раз получил 5. Но после этого мне захотелось воли. Задано было сочинение на эпиграф из кн. Вяземского: "В нас ум космополит, а сердце домосед". Я дал волю своей фантазии и скачкам своей мысли. Поливанов зачеркнул все окончание статьи, поставил мне 2- и написал: "Писать следует приличным слогом рассуждений без выхонок во вкусе малой прессы"».

Атмосфера у Поливанова максимально располагала к самообразованию и к творчеству. Обнаружив, что практически не знаком с русским романом, Брюсов запоем читал Тургенева, Толстого, Достоевского, Лескова, Писемского, Гончарова – собраниями сочинений. Некрасов, любимый с детства, Надсон, к которому его приохотил Станюкович, оказались быстро забыты – их сменили вожди «новой поэзии» Фофанов и Мережковский. Среди промежуточных увлечений – Полежаев, Лермонтов, А.К. Толстой, Гейне: «говорят, что Гейне это болезнь, которую должен пережить каждый из пишущих стихи». Тетради Брюсова, где собственные стихи перемежались с переписанными произведениями других поэтов⁶, наглядно показывают эту эволюцию. Его опыты подражательны, но он старательно учится. У Надсона, кумира эпохи:

Так наступит и время страданий
(Неизбежно оно у людей),
И забудется смех для рыданий,
Для глухих, безысходных скорбей.

У Лермонтова, кумира юношей многих поколений:

И перед ним изгнанник рая
Склонился трепетной главой

⁶ «Переписывая твои "Полутени", – писал он 24 июля 1895 года поэту А.А. Курсинскому, – я убедился во всех преимуществах *такого* знакомства с книгами» (ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 294).

И, речь забытую внимая,
Закрыв глаза своей рукой.

Или у обоих сразу – как Дмитрий Мережковский, чье юношеское творчество, хронологически опережающее брюсовское на 8-10 лет, отмечено теми же влияниями. Но в 1890 году, всего через три года после ранней смерти Надсона, Мережковский в поэме «Вера» уверенно заявил: «Как Надсон ни хорош, / А с ним одним недалеко уйдешь». Брюсов зачитывался «Верой», а сборник «Символы» (1892), в который вошла поэма, стал его настольной книгой. Под влиянием Лермонтова и Мережковского он попробовал свои силы в «большом жанре»: так появилась поэма «Король» (1890–1891; не опубликована), над которой автор, по его словам, «особенно много работал. Она собственно и выработала мой стих» (22).

Где проходит рубеж между «долитературным» и «литературным» в творчестве Брюсова? Обычно таковым считается 1893 год, к которому относятся самые ранние стихотворения, включенные автором в итоговое собрание сочинений. Но еще 20 июня 1892 года он послал стихи в «Северный вестник» – самый передовой с точки зрения «новых течений» журнал – пояснив: «Выбирая эти 6 стихотворений, я старался избегать слишком субъективных, хотя бы с внешней стороны они и были отделаны удачно. Равным образом, я не брал тех, где не удовлетворяла меня форма, отказываясь при этом даже от лучших по содержанию. [...] Может быть, несколько дерзко пытаться дебютировать стихами в таком журнале, как "Северный вестник", но мне кажется, что и сами стихи без имени автора что-нибудь да значат» (23). Заурядные стихи в сочетании с претенциозным письмом и подписью «Валериан Барсов» (помесь собственной фамилии с «Пятнистым Ягуаром») затерялись в библиотеке.

«Юношеское творчество Брюсова не представляет, конечно, сколько-нибудь значительного художественного интереса само по себе», – писал в 1937 году Н.К. Гудзий, задав подход к теме. Оговорки о том, что «неоспорима его культурно-бытовая ценность» и что «весь писательский путь поэта, начиная с его детских опытов, воспринимается как процесс органический и закономерный», остались незамеченными (24). Ювенилии Брюсова, в отличие от аналогичных опытов Блока и Сологуба, не говоря о поэтах-классиках XIX века, не изданы и не изучены. Не углубляясь в рассуждения об их литературных достоинствах и недостатках, следует обратить внимание на отражение в них интеллектуальных и духовных исканий юного Брюсова.

Ограничусь одним примером – трагедией в четырех действиях «Учитель», опубликованной А.В. Андриенко (25). Исследователи брюсовской драматургии упоминали ее, но бегло. В предисловии к пьесе, начатой в феврале – марте и законченной в июле 1892 года, автор писал: «Считаю нужным сказать, что ошибочно было бы искать в учениях, приводимых здесь, отголосок моих собственных идей. Театр не трибуна и не место убеждения. Мнения, приведенные здесь, принадлежат не мне, а действующим лицам трагедии. Далее, так же несправедливо было бы искать здесь намеков на события, хорошо знакомые всем. Конечно, великий образ божественного основателя Новой Веры носился предо мной, когда я создавал пророка моей трагедии, но все же внешнее сходство событий случайно, если только можно назвать случаем, что два одинаковых по духу лица встретили одни события жизни».

Брюсов дал героям условные имена: Иисус – пророк Алэт, Иоанн – Эйот, Иуда – Айстат, Мария Магдалина – Эрата. По замечанию публикатора, «такая условность не может обмануть», так как «в рукописи поэт не раз сбивается, называя переименованных персонажей первоначальными евангельскими именами» и даже вкладывает в уста Алэта цитаты из Евангелия. По характеристике автора, «Иоанн – тверд. Поклонник идеи. Ум и чувство подавленное. Не гений. Думает убить Иисуса. Не убивает. Хочет его увлечь. Не понял Иисуса. Эрата – Чувство. Поиск лучшего. Любовь к Иисусу. Отказ от Иуды. [...] Иуда – Гордость. Ум». «Философ не хочет быть ни жрецом старых религиозных культов, ни революционером, – суммирует А.В. Андриенко. – Алэт ищет истину, не стремясь к разрушению существующих систем, но готов отдать

свою жизнь за новое учение. Жрецы подозревают Алэта в подрыве устоев веры, а заговорщики, видя его гипнотическую власть, стремятся привлечь его на свою сторону для увеличения числа своих последователей и достижения политической власти. В трагедии происходит двойное предательство: заговорщик Эйот направляет на Алэта гнев жрецов и народа, а Айстат из ревности предаёт учителя Совету жрецов, уже осудивших его за проповеди. В черновом варианте трагедии два варианта финала: 1) канонический: предательство Иуды и 2) творческий – ученик уходит от учителя в поисках своего пути».

Публикация «Учителя» является важным открытием, поскольку ведет к пересмотру сложившихся представлений о духовном и творческом мире юного Брюсова, включая восприятие им христианства.

К 1889 году относятся первые автобиографические наброски Брюсова. Рефлексия стала его постоянным спутником и неотъемлемым атрибутом творчества. Теперь он не только заимствовал сюжеты у других авторов, но обратился к собственному жизненному опыту, следуя тютчевскому завету: «Лишь жить в себе самом умей, / Есть целый мир в душе твоей». С 1891 года в лирике доминирует «резиньяция», она приобретает характер лирической исповеди, с ярко выраженным первым лицом. «Параллельно с правдивой автобиографией, – отметил Н.К. Гудзий, – как она набрасывается поэтом в его дневниках и записях, создается поделенная на периоды автобиография литературная, отражаемая в стихах. Индивидуалистический по преимуществу, характер творчества будущего поэта-декадента, более всего равнодушного к судьбам своей личности, в этих стихах вскрывается очень явственно» (26). С осени 1890 года Брюсов начал вести дневник «Моя жизнь. Материалы для моей автобиографии», а в следующем году составил свод *всех* своих стихотворений с 1881 года с ранними редакциями и примечаниями, раскрывавшими обстоятельства написания текста или содержащими позднейшую оценку автора. «В этом тщательном собирании своих вещей и фиксировании их перед нами уже в эту пору обрисовывается будущий поэт, печатающий собрания своих произведений по типу академических изданий» (27).

31 августа 1892 года Валерий Яковлевич записал в дневнике: «Я рожден поэтом. Да! Да! Да!» Самоопределение совершилось. Он открыл для себя поэзию французских декадентов и встретил первую настоящую любовь.

Глава третья

«Путеводная звезда в тумане»

1

В декабре 1891 года, вскоре после разрыва с Елизаветой Федоровой, Брюсов, которому только что исполнилось восемнадцать лет, познакомился с двадцатитрехлетней Еленой Андреевной Красковой, выведенной в «Моей юности» под именем Нины Кариной⁷. О ней известно гораздо больше, чем о его предыдущем увлечении, в том числе из дневников и рабочих тетрадей, которые позволяют считать автобиографическую повесть вполне достоверным источником.

«Женское общество нашел я у Кариных. Это была довольно простая русская семья. Отец, всегда занятый службой, мать бесконечно добрая женщина. [...] У Кариных было две дочери: старшей, Нине, было лет 25, младшей, Жене, всего 15. Ради них, а впрочем, скорей по гостеприимству собирались у них несколько раз на неделе всевозможные гости. [...] В маленькой квартире Кариных для всех находилось укромное местечко для разговора наедине; кто хотел – танцевал, кто умел – пел или декламировал».

«Конечно, по своей прямолинейности, – с иронией вспоминал Брюсов, – я чуть ли не с первых слов заявил всем, что я поэт, что я – поклонник Спинозы и, следовательно, пантеист, что я презираю обычные условности и очень искушен жизнью. Конечно, и там надо мной смеялись. Конечно, я не мог уже обойтись без любви и поспешил влюбиться. Так как почти все барышни были “разобраны”, то я удовольствовался Соней Хлындовой. То была девушка лет двадцати с лишком, помнится, мало обворожительная, с неподвижными серыми глазами. Не знаю, каким чудом фантазии умел я пересоздать ее в образ, достойный стихов и мечты. Впрочем, она была девица добрая, кроткая и милая; она была тронута тем, что попала в число избранных; как бы из благодарности она отвечала немного на мое чувство. [...] В салоне Кариных каждый должен был считаться в кого-нибудь влюбленным». Прототип Сони Хлындовой, Вера Биндасова, следа в жизни Валерия Яковлевича не оставила, хотя и мелькнула в одном из списков «Мои прекрасные дамы». Брюсов продолжал переписываться с ней и после того, как навсегда покинул дом Красковых, но, судя по сохранившимся черновикам, в письмах называл ее исключительно на «Вы» и «многоуважаемая Вера Петровна».

В одном из его самых знаменитых стихотворений «Поэту», открывавшем сборник «Все напевы» (1909), есть декларативные строки:

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Они цитировались не одну сотню раз и, как правило, с оттенком осуждения: дескать, Брюсов все приносил в жертву литературе. Судя уже по его первым романам, доля правды в этом немалая. Забывается лишь одно – приносил он в жертву и самого себя.

⁷ С.И. Гиндин раскрыл прототипы действующих лиц «Моей юности»: Соня Хлындова – Вера Петровна Биндасова, Зардин – Сергей Михайлович Саблин, Гурьянов – Михаил Евдокимович Бабурин, Барбарисин – Николай Владимирович Андрусsek (ЛН. Т. 98. Кн. 1. С. 618–619).

«Трудно пересказать все глупости и несообразности, которые выделял я в салоне Каринных», — признавался всего-то через восемь лет Валерий Яковлевич, которого большинство современников считало начисто лишенным чувства юмора и даже иронии, тем более по отношению к самому себе. Он весело и бесхитростно повествовал, как пытался ухаживать за младшей дочерью хозяев Женей (в жизни Варвара), готовился «приучать Женю к себе и воспитывать в своем направлении», но быстро получил, как говорится, от ворот поворот. Зато тональность повести заметно меняется, как только в ней появляется Нина, старшая сестра. В дневнике Брюсова «Елена Андреевна» появляется летом 1892 года. Шестая тетрадь «Моя жизнь» с подзаголовком «Лёля» (вписано позже, поскольку Валерий стал так называть ее лишь в начале 1893 года) содержит записи с 21 октября 1892 года по 12 мая 1893 года (1).

Начало любви к Нине-Елене, некрасивой девушке со «странными, несколько безумными глазами», которая была на пять лет старше Валерия и считалась невестой Гурьянова-Бабурина, было наполовину игрой, наполовину литературой: «Я вдруг, сразу и неожиданно начал “ухаживать” за Ниной. Больше никого не было. [...] А так как, в сущности, мне было *все равно* в кого ни быть влюбленным, — *мне просто нужен был чей-нибудь образ, чтобы писать к нему стихи и мечтать о нем* (курсив мой. — В.М.), — то я тотчас же, в те же полчаса, переменял свою любовь и стал влюбленным в Нину». Чувство, вопреки ожиданиям, оказалось сильным и обоюдным. Настолько сильным, что Брюсов оборвал работу над «Моей юностью» как раз на начале романа с Еленой: думаю, просто не нашел душевных сил описать то, что последовало далее.

«Но что видела во мне Нина?» — спрашивает себя автор повести, признаваясь, что определенного ответа не имеет. И отвечает уже не как беллетрист, а как мемуарист: «Может быть (о, гордая надежда!), она прозревала в моей душе то лучшее, чего я сам не сознавал в ней. Однажды она сказала мне: “Знаешь ли, ты гораздо лучше, чем это думаешь сам”. Ей, может быть, наскучили обычные лица всяких кавалеров, виденные ею на своем веку, и ей понравился дикий и смешной мальчик, кричавший на перекрестках, что он гений. [...] Может быть, просто ее ужасала мысль стать женой ненавистного ей, искусно прикрывающего плешину Гурьянова. Она рада была всякому другому выходу. Я казался ей смельчаком, способным на все, способным жениться и на ней, прошлое которой все же было сомнительно (Брюсов уклончиво пояснил, что до Гурьянова «она тоже несколько лет считалась невестой одного офицера». — В.М.). Она надеялась легко овладеть мной и сыграть со мной игру наверняка. Я не знаю — может быть и это».

Здесь рукопись «Моей юности» обрывается. Но история только началась. Дальше о ней рассказывает дневник Брюсова, в котором тема любви к Елене причудливо переплелась с еще двумя — декадентством и спиритизмом.

Двадцать второго октября у Красковых состоялся очередной спиритический сеанс. Валерий Яковлевич усердно посещал их из интереса не только к хозяйским барышням, но и к возможным гостям из потустороннего мира, хотя был уличен в фальсификации медиумических явлений, когда они долго не случались.

Интерес Брюсова к спиритизму оказался серьезным и долгим и немало смущал его знакомых. Одни недоумевали, почему столь ученый и рационально настроенный человек интересуется подобной глупостью. Другие, мистики, считали спиритизм слишком примитивным для настоящего посвященного. Сам Брюсов объяснил это в разговоре с Ходасевичем в начале 1905 года: «Спиритические силы со временем будут изучены и, может быть, даже найдут себе применение в технике, подобно пару и электричеству». Высказывания такого рода ставили в тупик и позитивистов, и мистиков, но перекликались, например, с замечанием Николая Бердяева: «Давно уже явились признаки и симптомы перерождения и расширения науки и техники в сторону магическую. [...] Наука и техника переродятся в магию, будут познавать живую природу и вступят в практическое общение с духами природы» (2). В предисловии к поэме

Миропольского «Лествица» (1902), озаглавленном «Ко всем, кто ищет», Брюсов писал: «За последнее время в науке о медиумизме произошел важный и благотворительный переворот. Внимание исследователей от физических явлений обратилось к их духовному содержанию. [...] Наблюдения и исследования последнего времени расширили наше представление о свойствах человеческого духа и о взаимоотношениях духа и вещества».

Через двадцать с лишним лет, споря в Коктебеле с химиком Сергеем Лебедевым (мужем Анны Остроумовой-Лебедевой, которая в это время пыталась написать портрет Брюсова), он решительно возразил собеседнику, отрицавшему мистику: «Как вы можете говорить, что такой науки нет?! Вы просто не знаете этой науки, и потому не имеете права говорить, что ее нет. Оккультизм есть наука с точными знаниями. Есть много выдающихся людей, которые признают оккультизм наукой, изучают его. Эта наука в своей истории имеет целый ряд доказательств. И я не верю в нее, а знаю, что потусторонний мир существует так же, как и наш» (3). Вопрос о существовании потустороннего мира и возможности контактов с ним волновал Брюсова всю жизнь. Спиритические сеансы стали для него научным, позитивистским способом такого контакта, когда сверхъестественные явления можно услышать и «пощупать руками».

Вернемся к сеансу у Красковых 22 октября 1892 года. Судя по подробной и откровенной дневниковой записи, он удался во всех отношениях: «Мрак и темнота. Я сидел рядом с Еленой Андреевной, а Вари не было (уехала в театр). Сначала я позволил себе немного. Вижу, что принимаюсь благополучно. Становлюсь смелее. Наконец, перехожу границы. И поцелуи и явления. Стол подымается, звонки звенят, вещи летят через всю комнату, а я покрываю чуть слышными, даже вовсе неслышными поцелуями и шею, и лицо [так!], и, наконец, губы Елены Андреевны. Она мне помогает и в том, и в другом. Все в изумлении (понятно, насчет явлений). Потом пришел Михаил Евдокимович, но и это не помешало. Наконец, зажгли огонь, сеанс кончился. Я и она, оба держали себя прекрасно».

2

В дневнике у приведенной записи примечательное соседство. Чуть раньше Брюсов законспектировал статью переводчицы и критика Зинаиды Венгеровой «Поэты-символисты во Франции» (4). Исследователи пришли к выводу, что она стала для будущего отца русского символизма – и не только для него – первым источником сведений об этом литературном течении, хотя сам Брюсов затемнил вопрос о времени и обстоятельствах знакомства с ним.

В автобиографиях он называл то «начало 90-х годов», то «около 1890-го года». В интервью газете «Новости», опубликованном 18 ноября 1895 года, он рассказывал: «Когда в газетах наших проскальзывали сведения о новом движении среди поэтов Франции, я с жадностью набрасывался на эти случайные заметки, и первым поэтом из числа символистов, с которым я познакомился, был Поль Верлен. [...] *Впоследствии* (курсив мой. – В.М.) появилась статья Венгеровой, из которой русское общество узнало более подробные сведения о французских декадентах». В «Моей юности» он писал менее определенно: «В литературе прошел слух о французских символистах. Я читал о Верлене у Мережковского (“О причинах упадка”), потом еще в мелких статьях. Наконец, появилось “Entartung”⁸ Нордау, а у нас статья З. Венгеровой в “Вестнике Европы”. Я пошел в книжный магазин и купил себе Верлена, Маллармэ, А. Римво и несколько драм Метерлинка. То было целое откровение для меня».

Приведу брюсовский конспект статьи Венгеровой:

«Поэты-символисты. Основатели школы (во Франции) – Поль Верлен (1 сборник вышел в 1865 г. – реформировал и размер. Перелом в деятельности – по направлению к символизму

⁸ «Вырождение» (нем.).

в 1871 г. С 1881 года увлекся католичеством) и Маллармэ – (пишет непонятно, понимают лишь посвященные).

Артур Римбо (наименее понятный) *

Жюль Лафорг (музыкальность).

Роденбах, Тальяд, Г. Кан, Маргерит, Ренье, Мерсо.

Жан Мореас (стоит несколько особо).

Из статьи Зин. Венгеровой “Вестник Европы”,
1892, № 9.

* Писал 1869–1871 (лет 18), а в начале 80-х годов исчез, не напечатав ни одного стихотворения. Верлен тщательно сохранил уцелевшие и превозносил его гениальность».

Собственных оценок здесь нет. Нет и более ранних записей на ту же тему. Отмечая 16 декабря 1892 года в дневнике работу над переводом стихотворений Верлена, начатую четырьмя днями раньше, он поясняет в скобках «поэта-символиста», что указывает на новизну этого имени для него.

Где еще Брюсов мог читать о символистах? О них немного говорилось в книге Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», вышедшей в самом начале 1893 года. В апрельской книжке «Русской мысли» на нее отозвался ведущий народнический критик Николай Михайловский, судивший о французских символистах со слов немецкого врача и публициста Макса Нордау. Громившая декадентов книга Нордау «Вырождение» вышла в Германии в 1892 году и уже в конце 1893 года появилась в русском переводе, который читал Брюсов (сохранился экземпляр с многочисленными пометами). О каких именно «мелких статьях» идет речь, неясно, однако к осени 1895 года относится следующая запись самого Брюсова: «Когда два года назад я и мой друг А.Л. Миропольский выступили в первом выпуске “Русских символистов”, мы стояли еще в пустоте. [В русской литературе о символизме еле-еле знали. Была напечатана дельная статья З. Венгеровой (составленная, видимо, главным образом, по Нордау) и несколько пустых заметок Михайловского]» (5). «Пустыми заметками» автор именует пространные статьи критика, демонстрируя отношение к ним: заметок в обычном смысле слова тот не писал.

Брюсов узнал о французском символизме от его врагов, но этого оказалось достаточно, чтобы заинтересоваться. Книги авторов, названных в статье Венгеровой, он купил в книжном магазине Александра Ланга на Кузнецком мосту и читал их вместе с его сыном – тоже Александром, своим товарищем по гимназии Креймана.

Александр Ланг-младший тоже увлекался поэзией и спиритизмом, не отделяя одно от другого. Вспоминая осень 1892 года, Владимир Станюкович, реалист из реалистов, рассказывал: «Как-то раз я зашел к Брюсову вечером. Он торопился к А. Лангу на спиритический сеанс и затащил меня к нему, зная мое отрицательное отношение к этим сеансам. В слабо освещенной комнате с темными портьерами мы нашли длинного, странного, с блестящими глазами Ланга. Он был один и никого не ждал. В торжественной тишине хозяин и Брюсов приступили к священнодействию. На дощечку, сквозь которую проходил карандаш, они положили правые руки, и он тотчас забегал по большому белому листу, разложенному на столе. Как только лист исписывался, он убирался в сторону, а под ним оказывался чистый, готовый к дальнейшим откровениям. Быстро покрывались листы строками, написанными крупным почерком. [...] Ланг был убежденный спирит. Брюсов говорил мне, что стихи Ланга написаны не им, а “духами”. Возможно, что они писались так, как я видел на памятном сеансе» (6).

Какие именно стихи Ланга, выступавшего в литературе под псевдонимами «А.Л. Миропольский» и «Александр Березин», созданы с помощью автоматического письма, мы не знаем, но их литературные достоинства весьма скромны. Впрочем, имя духа, продиктовавшего Лангу первую часть третьей главы поэмы «Лествица», которая заметно отличается от остального текста, нам известно. Р.Л. Щербаков обнаружил, что ее основой стал... стихотворный набросок

Брюсова в 28 строк, подаренный приятелю, который счел необходимым немного изменить его стихотворный размер (7). Сравним первые восемь строк. Вот текст Ланга:

Войска проходили по множеству стран,
Раздвигая победные грани,
Под столицами вражьими ставили стан,
Налагали нещадные дани.
Но был ненасытен водитель их, Князь,
И отдых ему был неведом,
Какою-то жаждой безумной томясь,
Спешил он к новым победам.

А вот брюсовский оригинал:

Войска проходили по множеству стран,
Раздвигая все дальше победные грани,
Под столицами вражьими ставили стан,
Налагали везде беспощадные дани.
Но был ненасытен водитель их Князь,
И отдых ему был не нужен, не ведом,
Какою-то жаждой безумной томясь,
Спешил он все к новым и новым победам.

Ланг остался в истории литературы лишь благодаря участию в сборниках «Русские символисты». В первом из них, вышедшем в начале марта 1894 года (25 февраля Валерий Яковлевич отметил в дневнике получение сигнального экземпляра), символистов было только двое – Брюсов и Миропольский. Отец заставил Ланга взять псевдоним, но продавать книгу у себя в магазине разрешил.

Часть стихотворений из «Русских символистов» Брюсов позже включил в сборник «Juvenilia», подготовленный к печати летом 1896 года, но увидевший свет только в первом томе *ПССП* в 1913 году. Именно о нем автор говорил Измайлову: «Было бы несправедливо – вычеркивать слабое и юношеское. Когда-нибудь я соберу это и издам. Если поэт интересен, то и первые шаги его любопытны» (8). Но мы снова сталкиваемся с авторской мистификацией, масштаб которой стал ясен лишь в год столетия Брюсова, с выходом первого тома семи-томника, где стихотворения датированы по рукописям. В «Juvenilia» автор отнес 15 текстов к 1892 году, хотя все они написаны не ранее февраля 1893 года, сдвинув на год назад начало того, что считал своим серьезным творчеством.

Брюсовская часть (далее шли опыты Ланга в стихах и прозе, отмеченные влиянием Метерлинка) первого выпуска «Русских символистов», разрешенного цензурой 30 декабря 1893 года, – 44 страницы, 200 экземпляров – завершалась стихотворением:

Золотистые феи
В атласном саду!
Когда я найду
Ледяные аллеи?
Влюбленных наяд
Серебристые всплески!
Где ревнивые доски
Вам путь преградят?

Непонятные вазы
Огнем озаря,
Застыла заря
Над полетом фантазий.
За мраком завес
Погребальные урны,
И не ждет свод лазурный
Обманчивых звезд.

Такого в русской поэзии еще не было. Но можно ли относиться к прочитанному серьезно?

Сборник вызвал около десятка откликов, в том числе со стороны таких влиятельных критиков, как Платон Краснов, Аполлон Коринфский и Владимир Соловьев. Рецензии были не просто единодушно отрицательными, а еще и с оттенком глумления. «И по форме, и по содержанию это не то подражание, не то пародии на наделавшие в последнее время шума стихи Метерлинка и Малларме, – отчитывал Брюсова Краснов. – Но за французскими декадентами была новизна и дерзость идеи писать чепуху, вроде белых павлинов и теплиц среди леса (намек на стихи Метерлинка. – *В.М.*), и хохотать над читателями, думавшими найти здесь какое-то особенное, недоступное профану настроение. Когда же Брюсов пишет “Золотистые феи в атласном саду...”, то это уже не ново, а только не остроумно и скучно» (9).

Соловьев – не только мистик и поэт, но и известный остроумец – уверял читателей: «Несмотря на “ледяные аллеи в атласном саду”, сюжет этих стихов столько же ясен, сколько и предосудителен. Увлекаемый “полетом фантазий”, автор засматривался в дощатые купальни, где купались лица женского пола, которых он называет “феями” и “наядами”. Но можно ли пышными словами заглаживать поступки гнусные? И вот к чему в *заключение* (обыграно название стихотворения. – *В.М.*) приводит символизм! Будем надеяться, по крайней мере, что “ревнивые доски” оказались на высоте своего призвания. В противном случае “золотистым феям” оставалось бы только окатить нескромного символиста из тех “непонятных ваз”, которые в просторечии называются шайками и употребляются в купальнях для омовения ног» (10).

Угадал Соловьев истинный смысл стихотворения или нет? В кратком предисловии издателя говорилось лишь о том, что «язык декадентов, странные, необыкновенные тропы и фигуры вовсе не составляют необходимого элемента в символизме» и что «цель символизма – рядом сопоставленных образов как бы загипнотизировать читателя, вызвать в нем известное настроение». Настроение у Соловьева создалось игривое. 13 сентября 1894 года, вскоре по прочтении рецензии, Брюсов ответил ему не менее игриво (11):

Раннее утро

Посв. Вл. Соловьеву

Сколько счастья! Сколько неги!
Сколько радости в очах!
И развиты в быстром беге
Полотенца на плечах.
Щелкнул ключик. Слышен шорох.
За дощатою стеной
Больше наглости во взорах,
Обольщенных наготой.
Слышен смех, слышнее визги,
И как будто видишь сам

Бриллиантовые брызги
По свернутым волосам.

3

Однако мы удалились от других тем – спиритизма и Елены Красковой. 4 января 1893 года Валерий Яковлевич «говорил ей о том, что воспоминание о ней было лучшей святыней моего сердца»; 25 января «бессвязно объяснял ей в любви»; 10 марта «лепетал какое-то бессвязное декадентское объяснение» (12). 4 марта он сделал историческую запись – известную и часто цитируемую, но, как правило, в усеченном виде. Полностью она выглядит так:

«Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало! Надо выбрать иное. Без догматов можно плыть всюду. Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу их: это декадентство и спиритизм. Да! Что ни говорить, ложны ли они, смешны ли, но они идут вперед, развиваются, и будущее будет принадлежать им, особенно когда они найдут достойного вождя. А этим вождем буду я!

Да, Я! И если у меня будет помощником Елена Андреевна. Если! Мы покорим мир».

Дальше записи о свиданиях с Еленой перемежаются записями о хождениях по редакциям, которым юный поэт предлагал переводы из Малларме и Верлена. Связей в литературном мире у него не было, поэтому он обращался и в такие мало расположенные к «новым течениям» издания, как консервативное «Русское обозрение». Редактор журнала Анатолий Александров взял у Брюсова стихи, переводы и статью о Верлене, составленную на основе книги критика Шарля Мориса (13), но так и не напечатал ни строки. Видимо, присматривался к эрудированному юноше, переводившему странные стихи мало кому известных поэтов, а после скандала с «Русскими символистами» решил не рисковать.

Девятого мая Брюсов узнал, что «Лёля больна»: «простудилась, может быть, на последнем свидании». 12 мая он сделал запись, которая может покорибуть любого, кто не знает контекста этой истории: «Если она умрет... как сказать? Жаль, очень жаль будет. Я все же отчасти люблю ее, наконец, мы так мало времени были с ней. 5 свиданий! Сколько еще неизведанных наслаждений и сколько нетронутых струн сердца! Но если она умрет, разрубится запутывающийся узел наших отношений, распутается красиво, театрально и с честью для меня. О! Каково будет мое отчаяние. Я буду плакать, я буду искать случая самоубийства, буду сидеть неподвижно целые дни!.. А сколько элегий! Дивных элегий! Вопли проклятий и гибели, стоны истерзанной души... О! Как это красиво, как это эффектно».

Однако все оказалось вовсе не так «красиво». 18 мая Елена Краскова умерла. Брюсов был на панихиде и на похоронах: «Только во время пути к церкви я потерял самообладание и впал в какое-то оцепенение. Ланг водил меня, клал моею рукой цветы и ставил меня на колени». Записи были сделаны через десять дней, когда он «собрался с силами описать все». Первая же реакция была такова:

«Умерла! Умерла! Умерла!

И кто виноват?

Ты! Два раза. Три раза – ты!

Ради тебя она простудилась, из-за тебя заразилась корью и... и разве твои фразы “пусть умрет” – не имели силы? Ты – ее убийца! Ты!»

Валерию Яковлевичу пришлось оставить дом Красковых: поводом стало признание в том, что он подделывал «явления» на спиритических сеансах. Он попытался объяснить с матерью Лёли Марией Ивановной, но безуспешно и, видимо, не получил фотографию возлюбленной, о которой молил. «Кроме того, на мою мысль повлияло то, что Ланг предложил мне совместное

самоубийство. Его слабые нервы не выдержали всего, он разрыдался однажды и изобрел это. Я согласился, зная, что он откажется, и он действительно отказался».

Как раз в эти дни Брюсов сдавал выпускные экзамены в гимназии. На Закон Божий он не явился и «принужден был разъяснить Поливанову причину». 4 июня ему выписали аттестат зрелости. Поведение его было оценено как отличное, «исправность в посещении и приготовлении уроков» – удовлетворительная, прилежание – хорошее, любознательность (была и такая позиция!) – очень хорошая. Оценки «купеческий сын» получил следующие (первая выставлена педагогическим советом, вторая – по результатам экзаменов): Закон Божий 5 (5); русский язык и словесность 4 (5); логика 5 (5); латинский язык 4 (3); греческий язык 4 (4); математика 5 (5); история 5 (5); география 3 (только по результатам экзаменов. – В.М.); физика и космография 5 (5); французский язык 5 (5); немецкий язык 5 (4). Это опровергает утверждение Брюсова в «Моей юности», что на экзамене по математике он сбилсся и получил «четверку», а потому раздумал поступать на математический факультет и выбрал историко-филологический. Любовь к математике он сохранил на всю жизнь: в зрелые годы любил решать задачи из гимназических учебников алгебры и тригонометрии и работал над статьями «Общая теория чисел», «Возможность панарифметики и ее обоснование» и «Вопрос о четвертом измерении» (14). 9 августа он «подал бумаги в университет»: сомнений в необходимости высшего образования у него не было, но он вряд ли мечтал об ученой карьере. Вступительных экзаменов при наличии гимназического аттестата тогда не требовалось.

Боль от смерти Елены не отпускала. «Она унесла с собою все. Она была одна, которая знала меня, которая знала мои тайны. [...] Знаю, что в сердце еще найдется сил для новой любви, но сейчас-то, сейчас-то я один» (28 мая). «Вот когда мне понятна моя утрата! Живу в прошлом, ею. Она! она! она! [...] Стараюсь себя убедить, что это идеализация, припоминаю, что писал раньше. Но к чему! Еще тяжелей становится» (7 июня). «Жить еще не живу, хотя собираюсь» (14 июня). «Увы, Лёля была моим счастливым ангелом. С ее смертью все рушится. Жить? Для чего? Зачем? Ни сил, ни надежды. [...] За что! За что! Я виноват, во многом виноват, но есть предел, есть пощада! А, если бы я мог у кого-нибудь молить о ней. Слишком тяжело, а всюду, а вокруг мрак и какие-то лики, искаженные злобной насмешкой» (25 июня).

В 1916 году Брюсов написал венок сонетов «Роковой ряд», зашифровав в нем свой «донжуанский список»: кого под подлинными именами, кого под созвучными⁹. Открывает его Лёля:

Ты страсть мою с улыбкой приняла,
Ласкала, в отроче поэта холя,
Дала восторг и, скромная, ушла...
Предвестье жизни, мой учитель Лёля!

Спасением стали литература и новая любовь... нет, все же не любовь, а увлечение Натальей Александровной Дарузес, зеленоглазой «коварной и маленькой Талей», как она названа в следующем сонете. Они вместе играли в любительских спектаклях: он – Маслов, она – Раевская. Стихи, посвященные Тале, составили раздел «Новые грезы» в первом выпуске «Русских символистов», а позже в сборнике «Juvenilia». Однако в самом конце 1893 года (16 декабря они еще вместе снимались на память) или в начале 1894 года она рассталась с поэтом, который некрасиво поступил с ней, в чем позже раскаивался. На это намекает и автохарактеристика (в третьем лице) в одном из набросков: «...новое увлечение, которое повлекло только к ненужному пресуплению» (15).

⁹ 1. Лёля – Е.А. Краскова. 2. Таля – Н.А. Дарузес. 3. Маня – М.П. Ширяева. 4. Юдифь – Е.В. Бурова. 5. Лада – И.М. Брюсова. 6. Таня – А.А. Шестеркина. 7. Лила – Л.Н. Вилькина. 8. Дина – Н.И. Петровская. 9. Любовь – Л.Н. Столица. 10. Женя – Е.И. Образцова. 11. Вера – В.Ф. Коммиссаржевская. 12. Надя – Н.Г. Львова. 13. Елена – Е.А. Сырейщикова. 14. Последняя – М.В. Вульфарт.

«Занимаюсь много и начинаю входить в колею. [...] Думаю (среди тысяч планов) описать свою любовь к Лёле, в виде повести. Поэма на ее смерть подвигается что-то очень плохо» (14 июня). «Старательно пишу роман из моей жизни с Лёлей. Начинает он сбиваться на “Героя нашего времени”, но это только хорошо. Сегодня сон (умирающая Лёля) и этот роман опять разбудили боль на сердце» (17 июня). «Написал весь роман до конца. Написал несколько удачных лирических стихотворений, но о чем? всё о том же. Лёля царит везде – во сне, в листах, в разговорах. Беру По и вспоминаю, что читал его ей. Говорю об идеале и вспоминаю, что это был наш последний спор» (22 июня).

В стихах дальше отдельных набросков дело не пошло, а роман вылился в «лирическую повесть в XII главах» «Декадент» (закончена 3 ноября 1894 года), начинающуюся словами: «Чем дальше отодвигается от меня мое прошлое, мое недавнее прошлое, которое уже начинает мне казаться невероятным, тем яснее начинаю я понимать, как много пережито за один мелькнувший год» (16). Многие в ней заимствованы из дневника, хотя герой по имени Альвиан – alter ego автора – изображен неискренним в чувствах к героине и поглощенным лишь поиском «средства для ярко-певучих стихов». Прототип, действительно, был «лучше», как говорила подруга.

4

В сентябре 1893 года начались университетские занятия, о которых Брюсов вспоминал в «Автобиографии»: «Я переменял только форму одежды, но не переменял образа жизни. [...] Проф. В.И. Герье заставлял нас писать “сочинения”, проф. А.Н. Шварц, будущий министр, задавал нам на дом “уроки”, с проф. Ф.Е. Коршем мы занимались на семинарии переводом классиков, словно в школе. Со студенческим кругом я не сблизился, вероятно, все по той же своей неспособности легко сходиться с людьми. Кроме того, студенты все, прежде всего, интересовались политикой, я же в те годы, простившись со своим детским республиканством, решительно чуждался вопросов общественности и все более и более отдавался литературе».

Гораздо более важным делом, чем лекции, семинары и конспекты, была подготовка к печати первого выпуска «Русских символистов». Краткое предисловие к нему и более подробное к несостоявшемуся сборнику «Символизм. (Подражания и переводы)» выдержаны в академично-просветительском тоне: «За последнее время у нас много говорят и пишут о символистах, но до сих пор появлялось еще очень мало переводов из их произведений, так что эти “подражания и переводы” могут быть только своевременными. [...] Символизм представляет несомненный интерес и как новое веяние в поэзии, и просто как значительная литературная школа современной Франции» (17). «Первое публичное выступление Брюсова-символиста, – отметил В.С. Дронов, – носило относительно мирный характер. Рассматривать его как намеренное и глубоко осознанное стремление эпатировать “читающую публику” разного рода декадентскими крайностями нет достаточных оснований. От установки на литературный скандал Брюсов в эти дни был далек», рассматривая свое детище как «эксперимент, доказывающий, что в символизме есть рациональное начало и для русской поэзии» (18).

Второй выпуск «Русских символистов» делался если не в расчете на скандал, то с учетом такой возможности. Во-первых, сам факт его появления говорил, что символисты не спасовали перед единодушным осуждением прессы – от консервативного «Нового времени» до либерального «Вестника Европы». Брюсов ответил критикам информативным и подчеркнуто спокойным предисловием в виде письма к «очаровательной незнакомке», заявив между прочим: «По некоторым данным я предвижу, что в недалеком будущем символизм займет господствующее положение». Во-вторых, декадентов стало заметно больше: «Порода существ, именуемых русскими символистами, – писал Соловьев в издевательской рецензии на второй выпуск, – имеет главным своим признаком чрезвычайную быстроту размножения. [...] Я готов был бы

думать, что эта порода размножается путем произвольного зарождения, но едва ли такая гипотеза будет допущена точной наукой». В-третьих, на призыв издателя «В.А. Маслова»¹⁰ присылать ему произведения для публикации стали откликаться совершенно незнакомые люди.

Во втором выпуске «Русских символистов», получившем цензурное разрешение 23 августа 1894 года и вышедшем в начале октября, перед читателем предстали: А.Л. Мировпольский, Эрл. Мартов, Брюсов, Н. Нович, А. Бронин, М., К. Созонтов, В. Даров, ***, З. Фукс. В третьем выпуске – без указания порядкового номера, но с подзаголовком «Лето 1895 года» – разрешенном 26 апреля 1895 года и увидевшем свет между 10 и 23 августа, к ним прибавились: Г. Заронин, Ф.К. и В. Хрисонопуло. Предисловие к переводам Брюсова из французской поэтессы Приски де Ландель извещало об «отречении А.Л. Мировпольского от литературной деятельности».

Известных имен, кроме Брюсова, мы здесь не видим. Кто эти люди?

А. Бронин, М., К. Созонтов, В. Даров, Ф.К., *** – это все тот же многоликий Брюсов, он же издатель Маслов. Стихотворения и переводы, опубликованные под инициалом М. и астрономом ***, вошли в его сборники еще при жизни. Созонтов и Даров как маски Валерия Яковлевича названы в печати в 1927 году Н.К. Гудзием, работавшим с рукописями поэта, хотя в «Автобиографии» 1913 года тот, перечисляя реальных участников альманаха, назвал второго в их числе: «В. Даров (псевдоним) занялся торговлей и в настоящее время известен в финансовом мире, но продолжает писать стихи». В черновых тетрадях Брюсова осени 1894 года Гудзий обнаружил наброски предисловия к сборнику «покойного» Дарова: в одном из них говорилось, что это – псевдоним рано умершего поэта с задатками гения, в судьбе которого очевидны параллели с литературной судьбой Артюра Рембо. «Проектировавшаяся мистификация Брюсова в ее начальной стадии обуславливалась, нужно думать, не бескорыстными побуждениями. Практически всего выгоднее было, укрывшись за спиной псевдонима, выждать, какой прием встретит книга, а затем открыть или не открывать свое подлинное имя, в зависимости от успеха или неуспеха предприятия. Самое предисловие издателя рассчитано было на то, чтобы загипнотизировать читателя и судьбой юного поэта, импонировавшего самым фактом столь преждевременной смерти, и уверениями издателя в его гениальности. Перед нами явный расчет на эффект, на исключительность и необычайность факта» (19). Именно Дарову в «Русских символистах» отданы самые необычные стихотворения.

Двинулось, хлынуло черными, громкими волнами,
И тоски, и отчаянья полными.
Задыхаюсь, тону, погибаю, мой друг!
Где ты? один я... о где ты!
Как будто в бреду разбивают оковы мечты,
Разбивают оковы,
Встают и идут... но куда? на подвиг
Иль на позор?
Силою дышит могучее женское тело,
Спутаны волосы, бьются обрывки цепей,
Бьются о камни...
Взлетают в испуге навстречу летучие мыши.
Стойте!.. Стойте! Я гибну...
Пространство...
Крутятся светила в ужасной борьбе... На куски

¹⁰ Утверждения, что Брюсов взял этот псевдоним в память о Елене Красковой, поскольку ее настоящая фамилия – Маслова, неверны. Р.Л. Щербаков установил, что Краскова при жизни нигде не фигурировала под фамилией Маслова, а Брюсов использовал данный псевдоним в любительских спектаклях уже осенью 1893 года.

Разбиваются сферы... О стойте!..
Смешано вечное... вечное!.. Нет!
Нет! Это ты ли, мой друг?
На грудь к тебе упаду я,
На грудь упаду, буду плакать,
Буду плакать, как женщина, плакать
Как девушка, только что нагло
Оскорбленная... плакать
Как невольницы в тайных темницах Нерона,
Что в бреду свои разбивают оковы,
Встают и идут... но куда? на подвиг
Иль на позор?

Р.Л. Щербаков атрибутировал тексты Бронина и Ф.К. как принадлежащие Брюсову, но неизвестным остался автор стихотворения «Я ненавижу вас, великие...», напечатанного в 1907 и в 1909 годах за подписью «А. Бронин» с явным намеком на Брюсова (20). Споры вызвал(а) З. Фукс из второго выпуска. Критики гадали, мужчина это или женщина: как заметил Соловьев, «будем надеяться, что “З” означает Захара, а не Зинаиду», – потому что какая дама могла позволить себе такие «бодлерианские» стихи:

Труп женщины гниющий и зловонный. –
Большая степь, чугунный небосвод...
И долгий миг, насмешкой воскрешенный,
С укорным хохотом встает.
Алмазный сон... чертеж вверху зажженный...
И аромат, и слезы, и роса...
Покинут труп, гниющий и зловонный,
И ворон выклевал глаза.

Авторство Брюсова установил Гудзий на основании его рукописей.

Теперь о реальных лицах (21), которые, согласно автобиографии Валерия Яковлевича, «относились к своему делу и к своим стихам очень несерьезно. То были люди, более или менее случайно попытавшие свои силы в поэзии, и многие из них вскоре просто бросили писать стихи. Таким образом я оказался вождем без войска».

Г. Заронин (в черновике одного из писем Брюсов называет его «Григорием») – петербуржец Александр Васильевич Гиппиус, в ту пору гимназист, ничем себя в литературе не проявивший, кроме дружбы с Александром Блоком. Знал ли Брюсов настоящую фамилию человека, от которого получил по почте не слишком грамотные стихи, неизвестно. Псевдоним был раскрыт в статье Гудзия со ссылкой на свидетельство младшего брата автора – известного литературоведа Василия Гиппиуса.

Н. Нович, публиковавший в сборниках исключительно переводы, – основной псевдоним плодовитого переводчика Николая Николаевича Бахтина. О «Русских символистах» он узнал, видимо, из бранной рецензии И.П. Белоконского в газете «Орловский вестник», где сам периодически печатался: с 1891 года он преподавал в Орловском кадетском корпусе, основанном его предком М.П. Бахтиным. «Было бы страшно за русскую литературу, – писал Белоконский, – если бы были какие-либо основания предполагать, что наш “символизм” имеет какую-либо будущность. Но никаких оснований к такому предположению нет, и почти несомненно, что наши “символисты” лишь обезьянничают, подражая западноевропейским и, главным образом, французским “символистам”» (22). Сказанное не могло не заинтересовать Бахтина-Новича,

который уже переводил Верлена и По. Переписывавшийся то с «Брюсовым», то с «Масловым», Бахтин оказался, по замечанию публикаторов их переписки, «на редкость нечестолюбивым, тихим и покладистым автором»: «Его недолгое сотрудничество в альманахе Брюсова не было омрачено никакими разногласиями, и в этом заключалась причина успешности их сотрудничества в отличие от всех остальных поэтов, многих из которых отпугнула редакторская бесцеремонность Брюсова, [...] правившего чужие стихи по собственному разумению». Валерий Яковлевич охотно обсуждал с Бахтиным проблемы поэтического перевода, найдя в нем заинтересованного и сведущего собеседника, но с прекращением «Русских символистов» их переписка сошла на нет (23).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.